

NOVYI

W 366
359



МОРОДЖА

ВЫП.

МОЛОДЕЖЬ В ГРАЖДАНСКОЙ
ВОЙНЕ

3-й

ГВАРДИЯ

1

9

2

5

БИБЛИОТЕКА МОЛОДОГО РАБОЧЕГО

~~W 248~~
~~727~~ + W 366
359

МОЛОДЕЖЬ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

НОВЫЙ БЫТ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

Вып. 3



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1925

Отпечатано в типографии
издат. «Молодая Гвардия»,
Ленинград, В. О., 5-я лин., 28,
в колич. 10.000 экз. Ленин-
градский Гублит № 21.191.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Вокруг нас зеленеют уже первые ростки нового, преобразованного быта рабочего класса. Пробиваясь сквозь упругую толщу стародавних бытовых напластований, эти свежие ростки все больше разрастаются, крепнут и наливаются соками. Скоро они зацветут пышным и ярким цветом.

Нельзя изучать новый быт, не присмотревшись к тому, как пролетарский молодежь трудится и борется, как он учится, любит и проводит часы досуга.

Издательство „Молодая Гвардия“ приступает к изданию серии сборников, дающих художественное отображение нового быта, с его светлыми и темными сторонами. В ближайшее время выходят в свет следующие выпуски: „Комсомол“, „На производстве“, „Гражданская война“, „Любовь и досуг“, „Учеба“.

Каждый выпуск представляет собою совершенно самостоятельное целое, но все они объединены общностью замысла и руководящей идеей.

Наша задача — познакомить комсомольского читателя с художественно-оформленными „сгустками быта“ и дать ему подытоженный фактический материал для продумывания и обсуждения.

Н. Константинов

ОЛЬГУНЬКА

I

Слободка куталась в пыльный дымный вечер. По размытой дождями и развороченной мостовой гремели долгуши ломовиков, дребезжали пролетки. На дороге ребяташки играли в белых—красных. Белые скакали на палочках, размахивали плетями. В их головы красные бросали бомбы—пакеты, набитые пылью.

От тюрьмы к слободке через обширную площадь шли кучки ребят и девчонок с макаронной, со спичечной, с конфетной фабрики Гребезова. Перешучивались, пересмеивались, кричали припевки.

На пороге собственной хибарки Николай Семеныч Рулев — страстный голубятник и рыбак — чистил еще не уснувших язей.

Жена Евдоха подсиняла и, шаркая опорками, развешивала по двору белье.

Рулев выпрямил спину, с присвистом засопел потухшей трубкой и не сказал, а пропел, по своей привычке:

— Ма-а-ть, самовар поставь-ка, пор-а.

Уставшая Евдоха обернулась от забора и через плечо зло крикнула:

— Ай, уморился на крыше-то сидеши?.. Ай прикажешь разорваться?—у меня не десять рук.

В калитку ввалился, блаженно улыбаясь, портной Митька Луковка и, захлебываясь пьяной икотой, сообщил:

— Шабаш, Семеныч, сматывай удочки... Вай-на! Красные бегут—выковыриваются. Вот-вот казаки нагрянут.

Рулев отложил в сторону последнего распотрошенного подуса и поднял бороду.

— Звони больше.

— Х-ха, звони!.. Грю справедливо, чичас из города, все знают,—портной, размахивая рукавами, убежал в глубь двора раззванивать новость,—говорят, казенки откроют.

Дочери в этот вечер не дождались. Чайничали вдвоем со старухой на вольном воздухе на дворе, под чахлой березой с оборванными на веники ветвями.

— Куда бы она, ведьма, запропастилась?

— Молода, глупа, еще чего доброго за этими товарищами увяжется.

— Сломит голову.

— Охо-хо.

Евдоха украдкой смахивала мутную слезу и поминала казанскую заступницу.

Ночью в город нахлынули белые. Всю ночь в городе гремели выстрелы.

Домой Ольга пришла поутру. Сбросила дырявый рабочий фартук, умылась и в дровянике на свежих стружках завалилась спать.

II

Сызмальства Ольга в работу втянулась. То на поденку бегала, то с матерью стирала, за пятиалтынный в день в кровь сбивая руки. Года подоспели—и на фабрику поступила.

Дальше—больше.

Начала на вечерние курсы бегать; а к тому времени, когда в город пришли деникинцы, она состояла уже в Комсомоле.

Все живое ушло в подполье: тысячи маленьких рук упорно подготавливали большую победу. Ольге поручили небольшой участок, объединявший до дюжины семей рабочих, отступивших в рядах красной дружины.

Аккуратно каждые две недели Ольга бегала по адресам, которые навздевала на память. Раздавала маленькие запечатанные конверты с деньгами. Как могла, успокаивала плачущих женщин, не забывала оделить конфетками ребятишек. Суетливая, как воробей, мчалась по улицам, ныряла в кривые переулки, проваливалась в прорехи калиток, в черные пасти подвалов.

Бедовая, горловая девка Ольгунька—страсть. Ни из рук, ни из зубов никогда ничего не вырывалось. Казак—не девка. В работе ли, на погулянках ли—всегда за коновода ходила. Вертелки с фабрики Гребезова, макаронщицы да и все

девчонки мельничного курмыша, — все за ней хвостом стлались: шу-шу-шу да шу-шу-шу: это как, да это эдак ли?

Слободские ребята про Ольгу и ее миленка — пекаря Кольку Рыжова — пели:

Колька с Ольгой одной брови,
Это пара голубей,
Губки алые, черны брови,
Хоть родная мать убей.

И огневая девка, и башковая, а вот поди ж ты: с давних пор не в ладах жила с родными, кровными стариками; все жители села Петухова не мало тому дивились.

Стар да мал — что вода с огнем: друг от дружки топырятся.

Вечером придет Ольга с работы, примутся, бывало, вдвоем дочь пилить — дым в облака.

— Ольга, где ночами шляндаешь, какими та-кеми делами занимаешься?..

— Мое дело.

Евдоха подпрыгивала.

— Твое? Дотанцуешься, девонька, в собачий ящик попадешь. Вон нонче на базаре шестеро висят и языки высунули... А за што? Все за политику.

— Моя шея — моя и забота.

Мать плакала, и сам кряхтел.

— Ох, ведьма, узнаю, што с товарищами возишься — башку оторву, на помойное ведро приспособлю.

Ольга спохватывалась.

— Што вы, родненькие, стекла битого обожрались — эдакое порете.

— Собачья огрыза.

— Холера дохла.

Получки ждали, как светлого дня. Через субботу во вторую приносила девка денежки. Пересчитает старик бумажки, на кучки разложит: в какую дыру, скоко сунуть: это на корм голубям, это на новую сетку. У самой по домашности прорех много — тут недостаток, там недохваток.

— Што мало? где еще сороковка? — спросит, бывало.

— Два дня не выходила на работу, да вот книжек купила.

Нахохлится, как старый дудак в ненастье, заворкует:

— Токо деньги на ветер бросать твое дело, нет бы, где каждую копейку домой тащить. Все дурь на уме-то...

— Халява, — поддакнет и мать...

III

Нашла раз Евдоха в чулане в бросовом ящике листов сувой. За селедочий хвост дала прочитать пьянчужке портному Митьке Луковке. Листки-то оказались про забастовку: все так и ахнули... Вот так Олюшка, вот так тихоня, вот так гулинька. Считали — высчитывали, кидали — прикидывали: в кого бы такая уродилась. Ни мать, ни отец такими делами не занимались, да и родня, будто не слышать. Правда, сам старик Рулев в молодости

разочка два переночевал в клоповке, но как помпаша туда в пьяном состоянии и совсем даже, упаси бог, не за темные дела.

Пришла в тот вечер девка с работы и, по своей бабьей специальности, сейчас—ширк к ручной мойнику. Ужинать села. Старики так в нее и воткнулись, как шилья в колодку.

— Стерва ты, кудлата стерва.

— В ривалюцию ударила.

— Не говори, бат.

— Ни бога, ни царя, ни виновного козыря.

Ольга сразу не сообразила в чем дело и, захлебывая круто посоленный хлеб гороховым супом, просто спросила:

— Чего вы раскудахтались?

Евдоха, забыв о своих шестидесяти годах, вихрем подлетела, замахала перед лицом дочери листками. Горьким упреком и страхом задрезжал ее голос.

— Ох, сука, молода еще родителей-то за нос водить. Аль под цинкову крышу нас хочешь на старости лет засадить? Голубонька, аль те не мил вольный свет?

— Не живется в тепле, в суше, за выработку правов взялась, хресьян вздумала жалеть, рабочих, а мать с отцом ни жалко.

— Брось, тятя.

— Бросить - то бросим, да не знай — кто подымать будет. Прогонят вот с фабрики, ежели про „это“ узнают... Тогда не взыщи, покормил я тебя, потянула из меня жилы—будет... Тогда чтоб и нога твоя на порог ни ступала. Тогда

вот иди—они тебя пожалеют, что ли, рабочие да крестьяне-то...

— Ни в чьей жалости я не нуждаюсь.

Как нитка за иголкой, тянулась за самим матерью ржаво скрипела:

— У-у, непутева башка, бесстыжи зенки. Отца-то на грех наводишь—велика выросла, да ума не вынесла.

Старик бурчал и бурчал, ровно сухие грибы на бечевку нанизывал.

— С голоду подохнешь, вошь с'ест. Теперь тебе што: ешь, пьешь готовое, чужим горбом заработанное.

Ровно варом в дочь плеснул. Вскочила из-за стола, ложку бросила.

— Хлебом меня не кори, свое ем.

— Взы! Вишь взрызнула! Укажи, где твое-то заработанное.

— Што орешь на отца-то, как на подвластного,—подковырнет и Евдоха,—а ты, сука, не огрызайся, а слушай родительского наученья... Аль те родитель то—лиходеи, худому научит.

— А ну вас!

— Не нукай, еще не запрягла.

— Так-то, матушка моя, ежели не хочешь родительской воле подчиняться—иди на все четыре стороны, голова-те сломить.

— Брось, тятя, раззвонился, ровно соборный колокол в праздник.

Буркнет так Ольгунька да и опять молчок, только пыхтит, в книжку уткнувшись. Кремень девка—не сдаст.

Всеми мыслями и чувствами была там, далеко-далеко в горах, где партизанили свои—красные—и среди них миленок Колька Рыжий...

IV

На Николу Зимнего для ради дня своего ангела Рулев пропустил наперсточек и, возвратившись от обедни, полез на крышу чужого загонять: упал и убился.

Евдохе осталось одно утешеньице — дочь. И, мягкосердая, все еще не теряла надежды поставить ее на путь истинный.

Сядет бывало ничком на краешек узкой девичьей постели да и давай-давай в фартук сморкаться.

— Дочка, образумься. Брось ты риволуцией заниматься, в годы уж вышла. Обо мне, об старой, подумай. Засадят, сгноят в тюрьме тебя—как я жить буду.

— Пустяки,—только бывало и скажет любимое слово Ольгунька.

— Щучья ты дочь, Олюнюшка, кабы знала какво сердцу-то материнскому.

— Погоди, мать, белых прогоним, тогда заживем.

Евдоха, как клушка к дыпленку, припадала к голове дочери и пугливо шептала, брызгая слюной и словами.

— Жди, пока чорт сдохнет, а он еще и хворать не думал.

Так и текло, бежало времячко. Дочь вертелась, металась, горела. У старухи в мотовню старости тыкались слепые, безликие дни...

Чорт был живуч.

Морозной ночью, когда слободка спала мертвецким сном, „они“ пришли и резко, по-хозяйски, постучали.

— Эй!

Мать вскочила и, шлепая босыми ногами, металась по комнате, шаря спички.

— Спроси, кто это?—прошептала Ольга и вырвала у ней лампу.

Настойчивый стук повторился. За двойными промерзшими рамами хлопала нетерпеливая ругань, скрипели шаги.

— Живо отпирай, сволочь... Заперлись, иль денег много накопили?

— Счас, счас,—забормотала, заторопилась старуха, накидывая юбчонку.

Ольга вспрыгнула на подпечек и улезла в дымовую трубу. Мать только и успела крикнуть ей напоследок.

— Холодно! Простудишься. Надела бы чо.

Ворвались трое. Громко стуча сапогами и звякая шпорами, прошли вперед. Вдули свет. Блеснули погоны. Красные, обмерзшие лица шлепали губами. Оглохшая Евдоха крестилась, плакала и истуканом стояла около чела. Перерыли, повыкидали из сундуков все. Облазили подпол, подлавку, сарай и, ругаясь, ушли.

Проводила гостей, кинулась к печке. Покли-

кала-покликала — Ольга голосу не подавала. Пошвыряла в трубе кочергой — нет дочки родной.

Пождала день, другой, неделю — нет Ольги. Сгинула, растаяла, как ручей в реке.

V

С тоской леденящей, да с крупельной надеждой вглядывалась Евдоха в проходящих по улице девок.

Пропала дочурка, совсем пропала, растаяла, как ручей в весенней реке.

Целый годик высидела старуха у окошечка заветного. Ох, долог показался этот годик, длиннее дум стариковских. Все глядела, глядела на покривившуюся калиточку — ждала...

Вот-вот, мол, под'явится Ольгунька, по давнишней озорной привычке пинком распахнет дверь — влетит в светелку.

При каждом шорохе, стуке вздрагивала изболевшаяся мать. Залает ночью собака, старуха перекрестится, зачурается, в гнил угол поплюет и все ждет, ждет дочку родную.

Дни ползли, ночи, кряхтя, ползли, ползли недели, катились новолунья и полнолунья.

Год прождать — не мутовочку облизать, — у кого хошь, сердце в груди перевернется, а у матки родной и подавно.

Горе едче сулемы.

Горючими слезами выплакала Евдоха глазыньки — ослепла. Ничего не осталось делать, как христовым именем побираться — пошла в куски.

От горя ошалела старуха. Поседевшая, как выпаренная мочалка, голова от слабости беспрестанно тряслась. Озорные, слободские мальчишки ей кличку дали:

— Трясучка.

Мать не чаяла и в живых Ольгу увидеть. Пропала и пропала. Была и нету доченьки родной. Будто и не было николи.

Ладно.

Теплым весенним днем грелась Евдоха у ворот на солнышке. Со стороны города доносились трески, бухи, было похоже, что качаются и разваливаются дома. Подманила пробежавшего мимо сынишку сапожника — Ваську, которого узнала по голосу.

— Васянька, что там в городе-то делается, трещит больно страшно.

— Эх, тетеря глухая, у тебя все трещит — белые бегут, наши близко.

Через слободку в степь уходили обозы белых. Гремели телеги по выбоинам, ржали кони, глотки пьяно ревели.

Вечером того же дня сидела Евдоха с бабами у ворот — судачили.

— Гляди, гляди — Ольга идет.

— Девоньки — и то.

Старуха так и обомлела, слова вымолвить не может, сидит осовелая.

А через дорогу на перекосы Ольга бежит, каблучками стук-стук-стук-стук, на груди бант красный, на рукаве крест.

Подскочила, обняла мать, горячими губами впиалась в сухой и крепкий старухин рот.

— Дожили мама!

— Анчутки сдохли!—подказала та, захлебнувшись радостью от близости дочери.

— Черти в воду, пузыри кверху.

— Как с облака упала.

Не могла бельмами видеть: ощупала ноженьки, рученьки, головушку—все целехонько. Обцеловала всю.

Пошли во двор под руку.

И в молодом и в старом сердце звенела радость—в каждом своя...

— Што же тебе теперь награда будет?

— Не без этого,—засмеялась Ольга,—обязательно будет.

VI

Завертелась Ольгунька в работе, как щепка в весенней реке. Днем все бегала, ночами редко дома ночевала—заработалась. Матери не нужно было больше христарadniчать ходить—домовничала.

Чувствуя около себя дочь в редкие минуты и, глотая слезы, Евдоха начнет бывало как неразведенной пилой пилить:

— Пожалела бы ты себя, чадушко. Вишь—костлява стала, как вобла.

— Пустяки.

— Аль тебе слобода-то дороже матери родной, сука ты эдакая... От работы-то лошади дохнут. Отдохнула бы троху.

— Пустяки, мама, отдыхать некогда—работы выше головы...

Или выберет бывало вечерок свободный, начнет просвещать мать, книжку ей почитает, расскажет что. Беда со старухой—черствая. Все новое-то в голову туго лезет—слушает да и закрипит:

— Сорока, сорока, наговорила, как каши наварила, а есть нечего.

Смеется Ольгунька, заливаясь.

Так и жили, старая да молодая—и близкие, и далекие друг другу.

Артем Веселый

ДИКОЕ СЕРДЦЕ

Ветробой

В огне броду нет.

1.

Радость гудит в Илько.

Шаг пружинит. Ноги веселы. С Фенькой—шаг в шаг. Тук-тук. Внизу море—в реве, в фырке. Молнья рвет ночь. Ветер рвет грудь. Кровь мчит в Илько, мчит кровь.

Где ж.

Сюда. Скорей.

Торопится тропа. Рыв-рыв. Галькой закипела тропа. Собака гагавкнула. Смигнул огонек. Дымком пахнуло. Шиком в калитку. С козла через порог.

Здорово, Степан,

Хлеб, да соль.

Милости просим.

Блюдо, рыбы кости, ложки в сторону двинуты. На столе вытертая веслом лапа Степанова. С лапоть лапа.

Садитесь, товарищи.
Что хорошего скажете.

Оба.

Ехать надо.

Торопимся в...

Перебросишь нас в плавни.

Помни уговор, Степан.

Огонь качнулся. Степан качнулся. Ветер раскачивает хату. Дует в пазы. По стенам сети переливаются. Скула у Степана—сизая, литая. А глаз с рябью. Зыбкие глаза, как сети.

Буря злочая, а то б...

Ты не едешь.

Дай ялик нам.

Фенька когтит его плечо.

И паруса

Разя у меня ялике. Корыто. По тихой воде на них боязно.

Все равно.

Слышь.

Ветер толкает хату. Тоненько узвякают стекла. Стучит кровь. Дробен, смутен Степан. Неторопливые слова вяжет в тугие узлы.

Переждать ночь... Ни выгонка в сам деле.

Не будем ждать.

Ты вот што, дядя Степан... Кани-тель ни разводи... Давай об деле говорить.

Широко вздохнул.

Где ж ваш товар.

Вот товар.

Ногой ящик.

Все тут.

Все.

Мы.

Легковато. Упору нет, перекинет.

Фенька ударила жаркими глазами.

Чего тут рядиться... Дашь ялик,
нет ли

Ты не бойся—ялик вернем.

Я ни боюсь... Ково мне в своей
хате бояться...

Крякнул мужик. В сердцах щелкнул со стола
котенка, пробующего недоеденную уху. В сердцах
сорвал картуз с гвоздя.

Айдайте... Мне што ж... Мое дело
телячье: поем—и в хлев... А токо
скажу: зрей вы горячку порете.

Степанов сын Андрюшка с красными утек.
Меньшака Деника мобилизовал. Ни слуху, ни
духу, ни пера, ни пуху. Нет и нет. Будто и не
было сыночков родных. Не за что Степану лю-
бить ни тех, ни тех. И крутой мужик, а коми-
тету подпольного побаивался. Комитетчики—все
крючники, да рыбаки с своего курмыша. В слу-
чае чего житья прокляты не дадут. С чего такое
сбузыкалось и ни придумаешь. Держи по водам.

В дверь. В ночь. Крутень—вертень. Буря то-
пит море, как девушка в смоляных потоках кос
своих топит любовника.

Рыбак разбивает молодых.

Зря... Буря.... Я бы тож.

Мачту крепи

Ставь по ходу.

Фенька накатывает в лодку камней. Илько
треплет по загривку котенка: успели подружиться.
Ялик мечется на якоре. Цепью гремит. Ялик ме-
чется из-под ног. Волна бьет, бьет.

К берегу не жмись... Забирай все
круче, круче... У маяка на пере-
вале в бортовую качку не ло-
жись. Боже сохрани... Царапай
в лоб, в лоб... К берегу не
жмись—боже сохрани... Вира—
по-малу...

Взяли...

Щастливо

Хо-оп

Бортом по зубьям гребней. Чамра ¹⁾ в парус
торк-торк. Берега утонули. Огонек утонул. Вы-
крошился оскал скал. В реве утонуло Степаново

Держи—держииииииии...

Ялик раскачивается. Дрожит в беге. Грудью
прошибает ночь. Молодой горячей силой топчет
кольчатую волну. Море со свистом мечет арканы
пенящихся гребней.

Буй сердце вертит. Рука захрясла на руле.
За кормой искра стелет. Море бьется—косматая
рыба в сетке. Налит парус пылающим ветром.
Фенька кожаной чепкой (черпак упустила) отпле-
скивает. Оба на корме. Нос высок. Весела мчалъ.

¹⁾ Удары бури.

Скачут косматые молнии. Через всю ночь молчком. Только о деле.

Камни за борт...

Перехвати фал. Занемела рука.

На перевале брали килевую качку. Волна крыла подветренный борт. Фенька до свету отплескивала без отверту воду. В жарком размете кувыркалось море

Буря

ру

била

удалых

2.

Коняшки, легкие как снежная пурга, уносят их. Звонки, журчливы горные тропы. По широким развалам ветер гонит туманы. Разбегаются кусты прихрамывая. В тучах орлы—мельче жуков. Копыто искру секет. Ухо на взводе. Глаз легче птицы голодной. Глаз хватает, трясет каждый куст. Стороной миновали Уланову будку: последний пост стражи кордонной. Дальше—свои земли. Попридержали коней на шаг.

Проводником—зеленец Гришка Тяптя. Парень—оторви да брось. Английская шинелишка небрежно накинута в один (левый) рукав. Азиатская папаха на затылке. Плетью сшибает сухие сучки. Соколиным глазком мечет. Слова накаляет редко и нехотя. Разговаривают за него руки, ноги, чмок, фык, сап, марг, плевки.

Бра зна... Уууу... Ццц... Черно...

Пух-пух. Та-та-та-та та-а... Мммм...

Обшад. Гирцеванова...

Бам-бам... Зззз... Иииии... Кххх...

Талалы лалалыыыы... Ку-гу. В ста-

ныцу. Ку-гу. Покэты везу... Хо.

Фюю. Чччч... А, каже, бандюки...

Мммм... Як зарикотили, зарикоти-

тили... Ээээ, чертяки... Кыш. Фу.

Ыыы... Цццц... Шо тамочко було...

Уууу... Хибаж ты ни зна Хведьку

Горобця. У-уууу.

Тройку последних слов о Хведьке взял в такой хомут.

Шплюньку ¹⁾ (кулак с выкинутым пальцем) под нос: понимай—

Горобца застопали.

Перед глазами пальцы крест на крест:

За решеткой.

Оскаленные зубы:

Контр-разведка.

Плачущего Хведьку две руки хлещут со щеки на щеку.

И

Пальцем вокруг шеи

Багровая страшная рожа, высунутый язык:

Горобец повешен...

¹⁾ Рефодьер.

Чудно Феньке. Раскачивается в седле. На дружков поглядывает. Портянка выбилась из сапога: треплется озорным собачьим ухом. Играет в ветре рыжая, вихрастая Фенькина башка. Рот нараспашку. Смеется широкая, как лопата, рожа, заляпанная солнечными пятнами.

Илько...

Поотстал Илько. Пересказал такое Зеленцами забиты все горы. От Тамани до Грузии. Через Обшад на Каспий. Кругом бои. Кугутики ¹⁾ — в воду, пузыри кверху. Налет на станицы. Гулянка в городе. Паника. Дым. Ураган. Жизнь на полный ход...

Юркие горские лошаденки ходки. Кремнистые тропы бросают назад коленами. Снулая Будуева гора лениво выматывается из тумана.

Стой.

Мшелый камень по над дорогой оскалился дулами. Шмыгнула кубанка. Гришка переливчато засвистал, проехал вперед. Из-за камня трое. Ободранные винтари приняли на ремень. Прыгают белки. Скалятся волчьи зубы.

Гришко, тютюну немає.

Е.

Косятся на Феньку.

С городу.

Ни

¹⁾ Так дразнят кубанских казаков.

Разгоряченные лошади не стоят.

Чч...

Широкая балка Точанки. Костры. Люди. Пулеметы в брезентовых чехлах. В маскированной землянке начотряда Александр с завхозом в шапочки перекидываются, глушат коньяк. Пока Илько привязывал лошадей, Гришка в землянку ушелся

Честь умею явытца

Кто приехал.

Та Илько Валет... Мммм... С ним женщина подпольная... Чччч... Ячейку хочет огарнизовать... Шоб як у Москве. А сама в штанах... Ууууу... Ффф...

И смачно сплюнул. Не то от восхищения, не то от скуки. Любовно поглядел на рябую бутылку и, вздохнув, уселся на седло у входа. Завхоз подсек сразу четырех. Александр не захотел больше играть. Смахнул хлебные корки. Шашельницу на-двое об острую завхозскую голову.

Жулик ты, захвост... Прожженный жулик...

Давно тебя повесить собираюсь, да все забываю.

Кхе. Шутить изволите.

Илько. Фенька. Ящики. Рука у нач'а горячая. Плотная рука, как фунтовый карась. Рябоватое лицо подобрано, сухо. Печаль и усталость на лице.

Кыш.

Завхоз и Гришка убрались.

Стол забутыливает нач (хотя какой же там стол, пенек, понятно). Тяжелым взглядом раскубривает Феньку. Видит ее впервой. В бумажку и не заглянул. Что бумажка. Пахнет в землянке шинельной прелью, земляной мягкостью.

Сразу давай дело мять, топтать.

В городе в тюрьме пол-тыщи товарищей.

Их ждет яма.

Они ждут спасения.

Нужен налет.

Теперь.

Подготовку вел подпольный комитет.

Сгорел (четвертый по счету)

Запаяв сначала.

Порешили (без протокола).

Разведку в город.

Наколоть явки.

Приподнять тюрьму всем отрядом.

В ближайшую неделю

Типографию (привезенную в ящиках) нонче ночью перебросить в город.

Александр подклинил.

Погибнем под тюремными стенами.

Пусть погибнем, но и там за решетками товарищам легче будет умирать.

Не спуская глаз, Фенька смотрит на него и решает: крупный террорист и боевой оратор. Молодчага парень.

У кухни в разлив обеда заспанный писарек вычитал:

П Р И К А З

по красно-зеленому партизанскому отряду

По случаю моего секретного отъезда в неизвестном направлении, своим заместителем по части строевой назначаю Григория Тяптю. А комиссаром—вновь прибывшую товарища женщину. Строго приказываю ни волноваться, хотя она и женщина. Пункт 2-ой. За недостойное поведение, т. е. грабеж и бандитизм, припаять по 20 горячих тов. Павлюку и Сусликову Дениске. Долой... Да здравствует. Подлинное, хотя и без печати, но вернее верного. Ура.

Обеденная очередь рванула.

Ура-а.

И отобедавшая музыкантская команда облила ложку, вытерла сальный рот и с небольшим запозданием тоже уракнула.

В полутемной землянке Савчук—старой службы солдат, роется в куче погон.

Одна полоска четыре звездочки — штабс-капитан... Гладкий, две полоски — полковник... Это ты намотай себе на ус...

Александр рассеянно примеряет погоны. Торопливо строчит:

Какое дело. На неделе слилось у нас происшествие. Из второй роты Жучек разжился где-то сармачком. И в карточки играть верно не умел. В одну ночь всю роту раздел, разул. Утром хватились. Нет Жучка. Пропал Жучек. Слышим: в городе. Гуляет. И не духовой ли парнишка. Ну торчал бы где в подпольном укрытии. Нет. Форснуть надо. Бабу на коленки, гармонь в зубы, лихача за уши. Пошел. Чу: зашел наш мосол. Три дня его пороли. С солью. Сдался собачья отравка. На двести пятнадцатом шомполе сдался. Есть у нас в лягавке свой человек: стукнул. Пришлось тогда связать тасовать, лагерь менять. Канительное дело.

Уписывает Фенька жареную баранину за обе щеки, слушает во все уши.

Ты нащел дисциплинки спрашиваешь. Дисциплина она штож,

Она на пользу. Дороже правой руки. Известно. На голод-холод терпеж. В бою стой. Не устоишь — знай свою прекрасную участь. А только ежели ты хочешь знать по совести: в нашем деле эта самая дисциплина — девятый гвоздь в подметке. Жми. Жги. Вари. И вся недолга. Ты приглядишься тут. Во второй роте черноморцы есть. Оди-чали в горах. По году, больше, живого человека не видят. Говорить разучились. За разбой решил проучить двоих. Не ложатся под плети. Виновны, — говорят, расстреляй. И фасонны были ребята, а пришлось их свалить. Звери. Ухо к уху. Это тебе не казарма. А за Гришкой поглядывай. Хлюст малый. Давно бы его в земельный совет отправить, да нужный он человек.

В погоны зашифровался и ускакал с Савчуком в город.

3.

Кроег ночь. Лагерь в кострах. На высоких гребнях мерзнут посты. Льет лют норд-ост. Кости леденит. К огням сползаются лохматые, угрюмые. Солому волокут. Сушатся. Выжаривают

исподнее. Кашеваров вздушевают. Ладят на сошки закопченные котелки. Жалуются новой комиссарше.

Эх, товарищ, да-ах, товарищ.
Запаршивели мы хуже собак.
Я в бане с Миколы зимнего
не был. Шкура - то уж так
зудит, так зудит.

Слушок, будто красны недале-
че. А.

Ээээх.

Как теперь рассудить. Должен
нам совет жалованье солдат-
ско выдать... По году, по два
кусты считали, ниоткуда ни
в зуб толкни...

Сырость... Ремотизм корежит.

Вьется Фенька в мужиках, как огонь в струж-
ках. От костра к костру провожают ее глаза,
ленивые, как сыты вши.

Заводная...

Кусаная...

Илько с Гришкой—корешки. Такие-то ли ко-
решки, и не скажешь. Сызмальства. Валяется
Гришка на каменной плите перед самым огнем.
Из половинки картошки печать режет. От скуки,
понятно. На пальцах колечки камушками свер-
кают. Которы и без камушков. Пыхтит, сопит
Гришка, ровно воз везет. Печатью любит. Углем
натер. На ладонь прилепнул. Фармазон-
ная печать. Явственная. Бросил ее Гришка

в огонь. И заунывно эдак песенку блатную по-
тянул.

Не ходи так поздно по бану ¹⁾
И лягавым ты вслед ни гляди.
Ни доверяйся сердце больному
И шпану ты любить погоди...

У Гришки по груди—трри банта. Красный,
зеленый, черный. Шикозные банты. А Илько
смеется. В корешки глаз штопором.

Што это за лимонация.

Разгладил Гришка банты. Раз'яснил.

Красный—

— свет новой жизни, заря ре-
волюции.

Зеленый—

— по службе

Черный—

— травур по капиталу.

И носом покрутил.

Уууу... Чччч...

В солому зарылся. Захрапел. Потянуло Илько
к большому костру. В его свете моталась рыжая
косматая башка.

Пулеметчик Трохим Кулик, первый в роте
рассказчик, крутит пушистый ус. Разматывает
такое:

Шутка ли сказать: на дей-
ствительной семь годочков от-
барабанил, да в плену три. Бо-
гато рученьками, ноженьками

¹⁾ Вокзалька.

помахал, богато поту утер. Ворочаюсь до дому. Сидит в хате одна слепая матка—смерти дожидается. На дворе ни куренка, ни собаки. Сарай упал. Все криво, косо—не как у людей. Батька красные повесили. Братеньник с таманцами отступил. Дядья родные—все Денике служат. Оце бисова душа и разберись кто прав. Махнул я рукой. Помогай, каже, боже и нашим и вашим. Тильки меня не троньте. Не поддался я печали—за работу схватился. Лошаденку огоревал. Потрудился с годик. Опнул трохи. Хозяйство мало мало скопировал... А ну, посудите, добрые люди, какое без бабы хозяйство. Удумал я женитца. Как ни крутись, а женитца не миновать. Подвернулась на глаза девка подходящая—Марька. Обкрутились. Веселая моя Марька, чернобровая. Глядеть на нее—сердце ни нарадуется. А по дому—лучше старухи. Эхе-хе. Лихое нонче время. Нет счастья человеку.

— Живем, как по вострому ножу ходим,—подсказал кто-то. Зажмурился Трохим, голову свесил. Неторопливо

отстегнул от пояса кожаный кисет. Раскурил люльку и ну досказывать:

Приказ—указ. Мобилизация. Оборвалось наше счастье. Воевать итти ни оно. Набралось нас годков десятка с два. Понадевали по заплечи мешки с хлебом. В лес посунулись. Неделю, другую сидим в лесу, как сычи—свету божьего боимся. Глядь—бегут старики наши с плачем, с воем. Нагрянул каратель с отрядом—князь Трубицкой. Дизиков ловят. Скотину режут. Хаты палят. Над девками, бабами сгнущаются. Устроили мы военный совет. Что делать, как быть. Видим: петель много, а конец один—порешить надо гадов. Сказать—пустяк, а доткнись до дела—обожгешься. Народу у нас орда, да у каждого глотка-то в тридцать три диаметра. Два дня обсуждали. Так и бросили. Чего тут обсуждать. Криком возьмем. Пошла, поехала. Чуть зорька—стучимся в станицу.—Как дела... Так и так... Князь его сиятельство к молдаванам уехавши, а у нас гарнизон оставил.—Ладно. Хорошо. Раскатали мы гарнизону

семьдесят душ. По станице плач и стенанье. Там ограбили, там истязали. Марьку свою чуть нашел. Забилась в подпечек. Смеется, плачет, а не вылезит. Маню ее, зову: „Дурочка, Христос с тобой, очкнись“. Насилу вытащил и не узнал. Осунулась, пожухлела. Голова трясется. В кулаке зажала человеческое ухо откушенное. Помяли ее гады. Она на сносях, первым брюхом ходила. Горюй, не горюй. Так видно греху быть. Да и стонать то не время. Слышим опять каратель идет, в лес надо подаваться. И увяжись тут за мной Марька. Никак не хочет дома оставаться. И упрашивал ее и умаливал. — Не останусь, да и все тут. У нас меж собою уговор был—штоб бабой в отряде не пахло. Чево тут делать. С версту от станицы умотали, а Марька все бежит около меня, за стремя хватается. Осердился я тут, да и товарищей стыдно, хлестнул Марьку плетью.

Вернись.
Не вернись.

Вернись, скаженная.

Смертынька моя... Трохимушка, убей, не вернись.

Заморозил я сердце. Сдернул карабин с плеча. Трах... И ускакал товарищей догонять... Судите меня, люди добрые. Тридцать два года мне, а вот...

Сдернул шапку Трохим, и еще ниже свесилась его седая, ровно мукой обсупенная голова. По обветренным лицам тенью пробежал ветер.

4.

Перезабитые часовые с черных ветровых гор упали

и
а
о
г
н
и

на костры.

Скрюченные руки—рукав в рукав. На башлыках снег ярусом. На прикладах мокрый снег настыл коркой. Продрогшие, сиплые голоса

Собаки, што ль...
Где ж начальники
Шутки плохие...
До кишек смерзлись
Винца бы...

У костров пораздвинулись. Место дали. Из непослушных рук обмотка рвется. Поведенная

коробом шинель с гимнастеркой смерзлась. Пляшут зубы. Глотки по-малу оттаяли. Огонь заостряет глаза. Маленькими собачками южат жалобы. Грохают двенадцати-дюймовые матюки. В русском разговоре без крепкого слова складу настоящего нет.

В начальников
В бога господ
В кровину, в утробу мать
Полсуток без смены

Фенька растолкала Гришку
Давай наряд караула.

Спросонья помычал, поурчал Гришка. Лапой за голенищу. За голенищей у него вся походная канцелярия.

Скорей возись
Протер Гришка глаза: Фенька. Ххы. Запахнулся в шинель. И обратно спать.

Ни яких каравулов ни треба
Дай ротные списки
Кыш
Списки
Отчепись, стерва.

Приподнялся Гришка. С запазухи вытянул кисет. Плюнул с присвистом. Взялся ругаться.
Я—начальник. А ты пийди со-бакам сена давай.

Кругом молчали. Кто-то подкинул сырых сучьев. Пахнул дым. Фенька закашлялась. Отвернулась от огня. И спокойно:

Караулы надо выставить. Давай наряд. Чья очередь.

Андрюшка Щерба лупит печеную картошку. Подлюкнул Андрюшка:

Какая тут очередь... Послать вон его почетную банду. Нехай промнут... Завси в землянке спят, да спирт жрут.

Два, три вылуженные простудой голоса поддакнули.

Тут какая мотня. Увивалось вокруг Гришки с десятков своих ребят. Охватоблинники. Почетный конвой. Сыты—пьяны. А работы ни ногой. Коняги под ними—поискать надо. Гришка лабудит. За конвойцев. В караул—ни в какую.

Комиссарша едко ругнулась. Набрала добровольцев. Ушла с ними в темь, в мерзь. На дорогах, на ветру провалились всю ночь. По заре сбросились в лагерь, в солому, в сонь.

Не успел Илько согреться под шинелью.

Крик

Гам

Бам

Пыльно.

Вскочил Илько. Буза. Шухор. Тарарам. Гришка Тяптя перед землянкой борзые конвойцы.

Выходи, курва

Фасон взяла

В нос в рот

Г э э

На шум сбегались

Хай

Май

За стрижену косу

Узда рыбий глаз козырек на бок

Замерзать, што ль.

Из землянки Фенька. И шинель в накидку. Облизнула землистые губы. Сухо стрельнула.

Ни дам.

А просили спирту. Погреться. Сумрачно за- качались, зашумели, заголготали. Налитая дурной кровью рожа Гришкина придвинулась вплоть

Говори ни дашь

Нет

Ни дашь

Нет.

Уу.

И замерз отчаянный под хлывом глаз черных и студеных, как лесные озера. Фенька поверну- лась и, крепким каблуком сбивая мерзлые кочки, не оглядываясь, ушла в землянку. Помитинговали, помитинговали,—решили: шлепнуть комиссаршу. Гришка. Конвойцы. С полдюжины дудаков: не разобрали спросонья—в чем дело. Всем выпить хотелось.

Зеленцы по-малу просыпаются. Почесываются. Крестятся на занимавшийся восток. Греют котелки. Илько от костра к костру. Пинает спящих. Хва- тает за ноги, за руки.

Братаны. Становись. Живенько.

Дядьку Гнат. Тришка. Боже ж ты мой. Комиссаршу расстре- ливать повели...

Которые побежали. Вразвалку. Илько пере- дом. Наган в рукаве драчит. Под легкой ногой

тропа камень отхаркивает. Фенька размашисто бьет шаг. И ухо рассечено.

Стой куда

Чо

На бут

Брось бухтеть.

Какая твоя нота

Душка от помойного ведра

Аль тебе больше других надо

Уйди

Стой.

Заурчали. Залаяли. Подбежал Илькин родной дядька Игнат. Сивый подбежал. Яковенко. Щерба. Хандус. Другое.

А ну, хлопцы, шо туточки ро- бите.

Та

Ууу.

Илько наган Гришке во вшивый затылок. Коц. Брык. Ваших нет.

Га

Ва

Ага-бага-а

В цепь.

Попрыгали конвойцы в промоину. Илько с товарищами за камни поскакали. И затворами чолк-чолк. Быть бы перепалке. Ни миновать бы перепалки. Старики помешали. Стоя по-середке. Растопырились.

Ат бисово отродье

Чур, дурна.

Пособачились, пособачились. В лагерь пошли
вместях.

Сука, и променял ты на бабу
товарища.

Снежный ветер кувyrкается в угорьях. Кача-
ются вершины широкоплечих гор. Снежной
метелью умывается утро.

Припылил Александр. Ахнул. Плюнул. Раз-
ругнул. Шестерых отсунул в город. С тюрьмой
дело по ходу—и в городе люди нужны. Попро-
щался Илько с дядьком. По тропе бросился
Феньку догонять.

5.

На скале. Над морем. В ветре. По ночи:

Костер в дыме, похожий на сире-
невый куст.

Кисти спелых звезд.

Илько с Фенькой.

На шинельке. В узел схлест. Ласковая сила
сердце рвет. Вспомнила Фенька Трохима. Сердце
заморозил. Как просто. Тихо смеется Фенька.

А ты подломил бы меня... Как
наш пулеметчик свою Марьку...

Илько потрянул разудалой башкой.

Да.

Черное пламя пляшет в глазах Илько.

Черногрудый ветер сорвал, унес костер. Сны
бурны и грозовы. Булькают крики ночных птиц.
В жарком разбеге запыхалось море.

Утро градом горячих стрел. Вьются мелкие
тропы. Гудит земля, зверем залита. Гудят пятки
Илько. Фенька легко поспевает за ним. Ноги ее
сухи—горячи, как ноги скакунов, от бега зады-
хающихся на ходу. И глаза ее веселее солнеч-
ных лесных полей.

6.

Город в лихорадке. День—ночь лавина чемо-
данов, сундуков, людей ползет в порт. С вокзала,
с города—в порт. Стонут мостовые под кован-
ным шагом ломовиков.

Пошел—поше-е-ооол...

К пристаням жмутся английские, французские
корабли. Выталкивают ящики шотландских кон-
сервов, тюки обмундировки, ящики снарядов
с надписью.

— Бей, не жалей, еще доста-
вим.

Забивают трюм, каюты. Палубы оседлывают
чемоданы, розовые туши, лакированный пшик.
Рев. Визг. Стон. И убегают в море чернокудрые
кораблики.

На базаре по телеграфным столбам развешены
оборванцы. Проволокой за шею. Унылые руки.
Толстый язык. И баста.

Вечерами пылающие кафе гноятся беззубым
смехом. Улыбаются конфетные румыны. Рыдают
скрипки. Сильва. Кармен. Тройка, которая по
Волге матушке. Мишели. Жоржи. Дианы. Анже-
лики. Глаза лысые, как перламутровые пуговицы.

И ноздри. Широкие пляшущие. Такие у загнанных храпящих коней. Спасательный порошок на кончике ножа.

А- ах.

По ночам город, закованный в золотые цепи огней, вздрагивает под ударами ледяного норд-оста. По ночам на косе—ружейная канитель: зарабатывает хлеб и славу контр-разведка. По заре гудит далекая канонада: по за Кубанью стучатся красные.

Подполье. Норы. Товарищи. Удачи. Провалы. Гремучим сверкающим колесом. Прожилки часов искрой переливаются. Горячка дел. Комитет стоглаз, столап.

В городе мобилизация.

— Пару своих ребят на приемочный. Сагитировать. Нарыхать. Увести в горы.

В тупике вагон патрон.

— Разгрузить. Перебросить в отряд.

Нужны денежки.

— Собрать копейки у грузчиков и цементников.

— Налет на квартиру полковника: за границу собирается. Золото. Верное дело. Крой.

Волнение в артдивизионе.

— Связаться. Организовать. Ночью офицеров к ногтю. Дивизион в горы.

Убрать Черныша.

— Черныш нач охраны. Подвешиванье за ребра. Селедка. Шомпола. Иголки. Резиновые палки. Сорванные ногти. Из тюрьмы стон

Уберите Черныша

От рай-ячеек вой

Смотайте гада.

За короткое время он перебил и перевешал три состава подпольного комитета. Ни раз в него стреляли. Бросили бомбу. И все в пустую. Сегодня агентурные сведения: Черныш в штабе на заседании. Выйдет к трем. В пазухе города. Все равно кокнуть. В комнате случайно шестеро. Жребий бросили чечевичей. Илько. Илько расплескивая по груди хватил два стакана неразбавленного. Обветренное цыганское лицо потемнело: кровь взволновалась. Всем подержался за руки.

— Товарищи... Фенька, дай закурить.

Поймал в портсигаре папироску. Прикуривает у Феньки, а затылок горит. В дверь кинулся. И вспомнил тут: эдак же горел затылок, когда его—Ильку—

в Бабабешскую рошу расстреливать вели.

— Серебряковская. Автомобилей фырк. Крошево лиц. Звяньшпор. Илько через дорогу. С корзинкой на голове.

Лепошки. Горячи лепошки. Вот папаха встреч. Усы. Светлая шинель. Ордена во всю грудь. Он. Вот. Трах-тах-тах-тах-тах. В упор обойму. Смеется Черныш и рук из кармана не вынул. От испугу и бежать Илько не может. В панцире... Стерва... Говорили... Шпики. Казаки из дворов. Остры сабельки посекли на парне стеганую солдатскую кацавейку.

За день сверх программы.

— В бухте пароход со снарядами сожгли.

— На базаре средь бела дня шпика в сортире утопили.

— В горы сунули целый обоз мяса.

Из тюрьмы опять письмо.

— Спасите, помогите.

Сердце в груди ворочается. А руки не достают. Не фокус ведь. Бегала, бегала Фенька—язык высунула. Связь с надзирателями. Телефоны. Сигнализация.

Ключи. Охрана. Сговор с Александром. Дело выше головы. А тут ба-бах, завадилась Фенька.

7.

Порубленного, избитого Илько за руки, за ноги тащат по тюремному коридору. Голова бьется об ступеньки, метет пол. Ржаво тявкнул замок. Пахнуло кислой вонью, холодным камнем. С размаху шукой в угол. От ревущей боли и холоду очнулся. С великим трудом поднялся на ноги. Ни сесть, ни лечь. На спине посеченная в ленты рубашка скипелась. Зализал в деснах осколки зубов. От слабости прислонился к стенке. И навзрыд.

После первого допроса заправили Илько в камеру смертников. Край. Гиль. На приятелей напал. На Петьку Колдуна, на товарища Сергея. Здорово-здорово. Хомут. Какое. Так и так. Ось в колесе. Кругом пять в пять. Дело за ухвертками¹⁾. Ожидаем. Оглегло. Отвалила смертная тошнота от сердца. Повеселел Илько.

Ленивее валов выматываются круторогие мутные дни. Гулкие ночи выползают торопливо, оставляя за собой крики, плач, шелуху шороха. Камера сутула, стара. Ни нар, ни стола. Стены. По щиколки вода. Здоровые стоят по многу дней. Слабые сидят и лежат в воде. Каждую ночь выдергивают смертников.

¹⁾ Ключи.

Собирайсь.

Какие там сборы. Табачок, спички оставят. Зачем добру пропадать? Потухающим глазом, цапаясь за голые стены, уходят покорные.

Беленькие и чуют недоброе. Да кончика не найти. Черныш наружную охрану вдвои. В тюрьме сам деловых трясет. Кончика ищет. На допрос— на ногах. С допроса— на карачках: Как, да што, да какие твои мнения. Здорово живешь. Сукин сын. Поп. Бяк. Брык. Ах-ах.

С допросу прочухался Илько в чужой камере. Высокое окно. Дикий камень прет. Колодец. На койке из-под груды тряпья рыжий затылок.

Фенька, Фенька.

Стонать перестала. Приподнялась. Пригнула. Упала на Илько. Закрыла его собой. Кличка.

Ты... Ну вот... Больно...

Давно сгорела.

Ерунда. Ты откуда. С заводиловки.

Ну как.

Без звука.

Знаешь. Нынче ночью.

Да-да. Тсс.

Шесть.

Только сейчас заметил. За ухом потемнели рыжие волосы, спеклись в лепешку. И щека чем-то проткнута.

Стукнул засов. Ленивая дверь ржаво зевнула. Кровавой глаз фонарев уткнулся в двоих. Фенька перешла на койку. Солдаты. Скотинка серая и рас-

пывчатая. Стучат прикладами. Переступают с ноги на ногу. Деликатно покашливают в кулак. Офицер такой красивый.

Встать.

Двое подняли Илько. Встряхнули. Приставили к стенке.

Вялый офицер носовым платком чистит рукав. Говорит устало. Козни зеленцов. Налет на тюрьму. Состав комитета. Чепуха. Вздор. Все известно. Меры приняты. В корне. И даже про них он все знает. Конечно, молодость, любовь. Но это уже он говорит не по службе, от чистого сердца. Требуется пустяков: пару-другую адресов, кой-кого назвать. И все.

— Молч. Вьется луна в оконном переплете. Офицер простуженно кашляет. Старательно сморкается. За неподчинение законностям грозит спустить на Феньку взвод солдат.

Илько молчит.

Ну.

Илько отхаркивает сукровицу. Молча перебирает разбитыми губами.

Фенька глухо, ровно издали

Ни смей.

Офицера прорвало. Завертелся.

Вот как. Сволочь. Сс...

Стены повалились на Илько. Ведро ледяной воды ему на голову.

Опять подняли. Прислонили к стенке.

Я тебе вытяну язык. Скот.

Илько шагнул вперед. В грудь толкнул голос.

Молчи.

Офицер как на шарнире повернулся к солдатам.

Сыромятников, начинай.

Сыромятников торопливо крестится. Лезет на Феньку. Илько зажмурился. Защекотало в носу. Сподымя бьет дрожь. Белеют Фенькины ноги, теплые, как весенние березы. Тошнехонько. Мутно. Партизанская кровь митингует в Илько. Закружилось, завертелось все в глазах.

Стой. Ваше благородие. Стойте.
Не смей.

Офицер тут

Ну.

Ваше я я

Не соберет Илько мыслей, как пьяные вожжи. Шатается Илько. Видит вдруг. Обняла Фенька стражника Сыромятникова за шею. Крепко-на крепко. А другой рукой за зеленый шнур, за кобур, за наган—и

Первую пулю в него, в Илько.

Бах.

По гулкому коридору топот, шорох голосов.

Братва, выходи.

Диво два.

Хвост в зубы, пятки за уши.

Толпа арестантов бесшумно царапается на гору. Цепь зеленцов прикрывает отход. Радостный и размашистый Александр спрашивает об Илько. Куда подевался. Не видно парня.

Фенька вскидывает сползавший с плеча карабин.

И:

Загнулся наш Илько. Сердце у него поттаяло.

Историческая справка:

Налет на Новороссийскую тюрьму в ночь с 20-го на 21-е февраля 1920 г.

Георгий Нинифоров

ЮНЫЙ МАШИНИСТ

Рассказ

I

Летом Кольку в школу не заманишь. Ну ее, арифметику эту самую, к чертям оловянным...

Ребята на экскурсию, цветочки собирать, жучков ловить, а Колька с отцом на паровоз.

На паровозе краники разные, винтиля, рычаги медью поблескивают. Пристроится Колька на стуле откидном и смотрит, как отец с помощником орудуют.

На станции в окне паровозной будки топорщится, интересно сверху наблюдать, как пассажиры бегают, будто муравьи, которых из крана кипятком ошпарили, суеются и орут.

— Митревна, Митревна, полезай сюда.

— Где билет-от? Аль я тебе его сунула?

— Да ползи ты скорей, кулема ¹⁾, анафить-те!

— Граждане, сторонись.

— Пиши, Клавдинька! не забывай, милая!

¹⁾ Нерасторженная.

— Безобразие! начальство тоже, товарищи...

— Эх, ну и народу! И куда прут только, якрыть их.

Обер смотрит, смотрит, вынет свисток, да ка-ак хлестанет: ффрю-ю-ю.

Отец сейчас же: Гу-ук, чш-фф.

Паровоз вздрогнет, двинет раз-другой плечами могучими и руками часто-часто: ча! ча! ча! и пошел.

Эх, запузыривай, навертывай, качай!

Раньше по стрелкам: от-ойди, от-ойди, а как вышел за станцию, начал под уклон завихаривать, на стыках: трык-трык, трык-трык.

Телеграфные столбы с-пьяну кувырком летят, ветер-озорник в лицо песком хлещет, лес с перепугу в облака ползет, встречные деревеньки в пляс пошли, а паровоз как ахнет широкой медной пастью: У-у-ух, сторони-ись, мелкота...

У Кольки сердце от восторга в разные стороны кидается, выскочить хочет.

Часто Колька с отцом раз'езжает. Мчится змейкой среди гор Уральских длинный поезд, ныряет в глубокие выемки среди каменных скал, бежит по высоким обрывистым уклонам, а внизу далеко-далеко речушки серебром поблескивают. В низинах по утрам голубые прозрачные туманы ползут, а сверху солнце огненными пальцами горные трещины прощупывает. Холмы, как огромные морские волны, застыли в далекой синеве, среди огромных мохнатых пихт и сосен поселки прячутся и издали стеклами окон подмигивают.

в долинах будто бы платки узорные разостланы, разными цветами переливаются.

Привык Колька к паровозу, знает как воды накачать, толку разжечь, как регулятором действовать, чтоб машину в ход пустить. У отца научился, и старый помощник Лукич рассказывает.

В дни отдыха Кольке невтерпех, минуты дома не усидит и все около железнодорожного депо шебуняет, по путям. Взгромоздится Колька на высокую насыпь пути и любит, как паровозы между вагонами хозяйничают, порядок устанавливают.

Внизу все в разные стороны ползет, и кажется Кольке, что это сама земля раз'ехалась и бежать собирается. Паровозы, как хорошие пастухи среди стада, весело так посвистывают, мелкоту по углам разгоняют—покрупней к середине жмут, а промеж вагонов разговор идет: тук-тук-тук, тебя куда? тебя куда? тебя куда? трам-блям, чебурдых. Тут же люди снуют к вагонам, как слепни льнут.

Хорошо Кольке, высказать невозможно...

Вверху солнышко болтается, будто его за ниточку дергают, со стороны депо нефтью пахнет, потянешь носом, дышишь и не надышишься—арома-ат.

К вечеру Колька домой появляется, мать зудит:—Ты у меня достукаешься, уж я тебя вз'ерепеню когда-нибудь, подожди у меня... ты у меня...

Эх, не слушал бы, только отец и поддержит.

— Ну, ладно, мать, чего уж там.

II

В середине лета хозяйкин сын Аркашка вдруг задаваться начал. Коротыш чортов, выставит свой самовар, руки назад и расхаживает по двору. Хотел Колька отволторить его, чтоб не заедался, только отца побоялся, рассердится—на паровоз брать перестанет.

Мать Аркашкина тоже в занозу норовит, покрикивать на квартирантов начала:—Убирайте свои дудоры¹⁾. Скоро всех вас к шаху-монаху отсюда. Потом зачали к матери Колькиной жены рабочих бегать, всплескивают руками и стрекочат:

— Батюшки мои, что ж делать-то?

— Утекать надо...

— И сколь их идет этих чехо-словаков разных, страсть...

— Казара-то вся с ними.

— Ох, что будет только.

А отец Колькин ходит себе ни тинь, тили-линь.

Смелый, ничего не боится. Если же разговоры о чехо-словаках услышит, брови к переносице сведет, и желваки на щеках забегают. Дома редко бывает, все время на дежурстве в депо и от Кольки скрывает, когда надо в поездку отправляться, но Колька сторожит и даже из дежурки не уходит.

¹⁾ Пожигки.

Утром отец в бок Кольку толкает и говорит:
— Ну-ка, сныч, живо со штабным отправляемся, да уж брать ли тебя? Катай-ка лучше домой.

У Кольки сердце вжик, будто в погреб со льдом, а на глазах даже слезы заискрились.

Просить стал:—Как же, папка, охота ведь...

Лукич, спасибо, подталдыкнул:—Возьмем, что за беда, не помешает.

На станции всего четыре вагона зацепили. Лукич так пару подогнал, что паровоз по лошадиному пофыркивать начал и ально ¹⁾ дрожит весь.

— Ну, Колька, — смеется Лукич, — держись только, катанем сейчас. А отец около паровоза ходит, гайки кропит и из масленки поливает.

На площадках вагонов красноармейцы с винтовками встали. От станции Вердяушь к Златоусту на под'ем к вечеру только доползли, кругом темно было, лишь около станции несколько фонарей ныряло в тумане. Приехали и сейчас же на круг, паровоз повернули в обратную сторону, опять прицепились и так до утра простояли все время под парами. Колька на тендере, свернувшись калачиком, спал, а отец с Лукичем по переменкам дежурили.

Чуть солнышко из-за гор, а Колька уже на ногах. Выглянул из будки: тишина и народу никого, одни красноармейцы с площадок вагонов штыками поблескивают. В топке ревело во-всю, отец около краников и винтилей хлопотал.

¹⁾ Даже.

— Папка, чай будет?

— Чай—вон он, хлеба нет только. Лукич пошел.

— Скоро отправимся, што ли?

— Что, надоело тебе?

— Нет, я станцию посмотреть хочу сбежать, больно хорошо тут, во-он гора виднеется, выше как у нас, это какая?

— Таганай.

— Таган-ай... Папка, я сбегаю туда, а?

— Эка, ты что думаешь, она рядом? До нее верст десять, язык высунешь бежать-то.

— Ну, я на станцию.

— На станцию ваяй, живо только, а то без тебя отправимся.

Соскочил Колька и вдоль пути к станции в карьер поскакал. На платформе пусто, только станционный сторож один, сидя на ящике около дверей, на солнечном пригреве дремал и тыкался перед собой носом. Колька мимо его внутрь станции прошел. Здесь на полу, на столах, скамейках и на буфетной стойке спали рабочие и красноармейцы, в углах стояли винтовки. Духота была нестерпимая, спертый воздух не успевал выходить в открытую фортку. Большие мухи сонно гудели и билась о стекла. Колька тем же ходом повернул обратно и, обежав здание станции, нырнул в станционный садик. Здесь тоже спали красноармейцы, укрывшись грязными рваными шинелями, а около ходили чьи-то козы и глодали кустарники сирени и акации. Прошел Колька дальше, на горку подниматься стал

и вдруг откуда-то сверху ка-ак шандарахнет: ба-ам, ууу-сииннь. И загудело, забурлило по лесу... Не успел Колька оглянуться и сообразить, как повторилось еще и еще, не помнит он, как с бугра вниз скатился, мельком заметил бежавших куда-то рабочих и красноармейцев.

Одни бежали к путям, другие навстречу Кольке в гору. Где-то, совсем близко, очень звонко и резко затрещало: Три-и-и-ти-ти-ти-и, врезаясь в этот треск и гул, рывкнул паровоз: гуа, гуа, гу-у-у.

„Отец это, отец“, — мелькнуло в Колькиной голове.

Что же это такое? А бежавшие рядом кричали:

- Чехи, чехи.
- Стой, свои.
- Скорей к эшелону.
- Товарищи, обходят, обходят.
- Казаки, казаки.

Горит у Кольки внутри. Скорей, скорей — и припустился что есть силы к паровозу, а позади станции по платформе бежали чешские солдаты, приближаясь к поезду.

По-кошачьи, с налету вскочил Колька по ступенькам паровоза и, споткнувшись, упал, ударившись боком о колени отца, падая, слышал, как часто застрекотали выстрелы, зазвенело железо от ударов пулеметных пуль и, ругаясь, неожиданно опустился на колени отец.

— Колька, скорей, регулятор, краны...

Перескочив через отца, Колька рванул винтиль, открыл продувательные краны и, подскочивши, схватился за регулятор, тяжестью тела потянул к себе. Паровоз запарил и, как будто подпрыгнув на месте, рванул вперед, лязгнули фаркопные цепи, заговорили по стрелкам бандажи, побежали куда-то стоявшие по бокам товарные вагоны, дома, деревья.

Слышались чьи-то крики: — Сволячь, стой, стой. — А Колька толкал и толкал регулятор по команде сидевшего в углу отца. Позади грохотали вагоны, с насыпи вихрем поднимался песок, мелкая галька и посвистывал навстречу ветер.

Проскочили переездную будку, потом какой-то раз'езд,

Отец, удерживая стон, командовал убавить ход.

— Тише, Коля, станция скоро, назад регулятор, назад.

Оглянулся Колька и увидел: совсем отец на бок повалился, а из обеих ног через голенищи сапог густо кровь запеклась.

Лукича не было, только сейчас и заметил.

— Папка, что у тебя кровь-то? А Лукич где? Убили?

— Не знаю, сына, может и убили Лукича, а вот мне так здорово досталось: обе ноги перешибло пулями, разуться бы надо, да не могу.

Колька кинулся было помочь, отец остановил.

— Смотри уж, ладно, дай свисток.

— Не достану.

— Проволокой зацепи. Ох, боль-то какая.

Подходили к станции. Кое-как дотянувшись, Колька дал продолжительный свисток и стал тормозить, а отец кричал:—Медленно, медленно, не рви.

К остановившемуся паровозу набежали красноармейцы и комендант поезда.

— Ну, как, благополучно ли? Спасибо вам, выручили. Кто, товарищи, вел поезд?

Колька соскочил на песок, бледный, перепачканный, босиком.

— Я, товарищи, работал, а папка там лежит, простреленный.

— Так это ты нас вывез?—засмеялся комендант. Ай, да машинист. Орден Красного Знамени за это. А ну-ка я тебя начальнику штаба покажу. Сгреб комендант Кольку в охапку и на руках понес в вагон.

Ив. Скоринко

В СЕМНАДЦАТОМ

(Записки комсомольца).

I

В апреле 1917 года я еще работал в башенной мастерской Путиловского завода. И вот, однажды получил из цехового комитета газету большевиков „Правду“, где прочел краткое сообщение, гласившее следующее: „Сегодня в 7 часов вечера на Выборгской стороне в столовой завода „Рено“ состоится собрание представителей рабочей молодежи по вопросу об организации союза молодежи“.

Характерно то, что другие газеты (эс-эров и меньшевиков) такого сообщения не содержали.

С этой газетой я тотчас же направился к работавшему в нашей мастерской бывшему члену социал-демократического кружка т. Зиновьеву побеседовать о новости.

Бросив работать, мы от нетерпения готовы были тотчас же лететь к „Нобелю“, чтобы не опоздать.

В некоторое затруднение нас привело то, что туда приглашались делегаты фабрик и заводов.

Цеховой комитет, состоявший в большинстве своем из эс-эров, на нашу просьбу (большевиков) разрешить устроить собрание молодежи мастерской на предмет выбора делегата ответил категорическим отказом, а устроить собрание рабочей молодежи всего Путиловского завода было немислимо.

Не смущаясь таким казусом, мы с Зиновьевым решили „делегироваться“. Мандат на имя тов. Зиновьева был подписан мной, а на мое имя им.

В назначенное время мы уже были в столовой завода „Рено“.

Но до этого нами вся молодежь мастерской была взбудоражена идеей организации союза молодежи. В уборной мы в кругу подростков в самых радужных тонах рисовали будущность союза молодежи.

Уезжая, мы их оставили беседующими о союзе. От них же, успокоив свою совесть и получив большую уверенность в своей задаче, мы получили санкцию на делегатов и представительство от имени Путиловского завода.

По приезде в столовую завода „Рено“ мы уже застали огромное сборище молодежи, говорившее нам о серьезности и важности собрания.

Разбившись по группам, подростки вели оживленные беседы, выявляя физиономию нарождающейся организации. Попутно знакомились друг с другом.

Уже здесь стали выявляться лица, которым суждено было играть известную роль в союзе.

Особенно мне врезалась в память фигура т. Бурмистрова. На этом собрании он был чрезвычайно возбужден, бегал по столовой, жестикулировал. Увидя его, я тотчас же подумал: „или нервно-больной или анархист“. Оказалось последнее.

Шум стоял отчаянный.

Но вот началось собрание. К сожалению, не помню, кто был его председателем.

Началось оно с приветствий. Говорили преимущественно подростки. Это были совершенно особые по своему построению и мыслям речи.

Оратор выходил, краснел от непривычки видеть перед собой большую аудиторию, выбрасывал ряд отрывистых, не связанных одна с другою, фраз, хватался за отдельные лозунги и вызывал у остальной молодежи бурю восторгов и желание тоже говорить.

Но, несмотря на разбросанность мысли ораторов, мы прекрасно понимали то, что хотели они сказать.

Как ораторы, здесь выделились только тт. Бурмистров, Кузнецов (анархисты) и Дрязгов (меньшевик).

Говорилось же здесь о нуждах молодежи, о необходимости союза, и в самых оптимистических тонах здесь предугадывалась будущая революционная роль союза.

Идеализм розовый, юношеский идеализм обволакивал всю аудиторию, заставляя юные умы

сосредоточиваться на грандиозных замыслах, на возможности проявления творческих способностей.

Майн-Рид, Жюль Верн с их героями, которыми большинству молодежи хотелось быть, сделались в этот день далекими и чуждыми. Все чувствовали революцию и намечали свое место в ней.

От имени рабочей молодежи Путиловского завода выступал я. Это было мое первое публичное выступление. От непривычки я ужасно робел и смущался, и что я там говорил, я не мог вспомнить даже в тот день. Но помню, что я говорил горячо и убедительно.

Мое выступление от имени путиловцев аудиторией было принято чрезвычайно тепло и восторженно.

Ведь это свидетельствовало о том, что несколько тысяч подростков Путиловского завода, имеющего богатое революционное прошлое, будут верными и активными членами нарождающегося союза.

Заключительным приветствием была выслушана речь представителя Шведского Социалистического Союза молодежи, которого случайно встретил кто-то в Петрограде и привел сюда на собрание.

После приветствий собрание перешло к деловому порядку дня. Докладчиками были, насколько помню, гг. Дрязгов, Кузнецов и др.

По ряду вопросов, несмотря на сильное противодействие небольшой группы меньшевистски

настроенной молодежи (была и такая), были приняты самого революционного содержания резолюции.

В заключение было принято пожелание о необходимости проведения в районах широких конференций рабочей молодежи, где и разъяснить им цели и задачи вновь организуемого союза.

Подогретые приветствиями, полные энергии, мы разошлись для работы по предприятиям и для подготовки к конференции.

II

На следующий день, после собрания на заводе „Рено“, я и т. Зиновьев, взяв на себя инициативу организации конференции и союза в Петергофском районе, подали заявление в цеховой комитет башенной мастерской, где просили нас временно освободить от работы, с тем условием, что мы свое время будем отдавать устройству митингов и докладов по фабрикам и заводам.

Смотря на это, как на общественную работу, мы полагали, что освобождение от работы нам дано будет беспрепятственно, но здесь была наша ошибка.

Нам было указано, что „создание юношеских отдельных организаций будет ничем иным, как баловством. Молодежи не следует создавать свои организации, во-первых, потому, что рабочая молодежь имеет возможность входить в любую рабочую организацию, а, во-вторых, потому,

что молодежь, выделяясь в самостоятельный союз, тем самым подрывает мощь рабочего класса и способствует его поражению“.

Последний довод был поставлен настолько серьезно и был произнесен таким тоном, что напугал меня и т. Зиновьева, и мы чуть было не оставили мысли о союзе.

Одновременно смущали нас и сами рабочие, узнавшие от цехового комитета про наше желание. Первые дни мы являлись темой шуток и острот. По мастерской ходила карикатура, где изображался митинг нового союза. На горшках сидели малыши, перед которыми, зажимая нос, я держал речь, а т. Зиновьев, тоже зажав нос, звонил в колокольчик.

На другой карикатуре была изображена демонстрация малышей, где на знаменах были написаны такие лозунги: „Долой школы и розги!“ „Требуем вычеркнуть из библии факт избиения младенцев, как развращающий умы отцов!“

Шутками нам не давали проходу по мастерской. Мы пали духом.

К нашему счастью, нас выручил Вася Алексеев, которому мы сообщили об общегородском собрании, а также ответ цехового комитета.

Назвав ответ последнего „ерундой“, он нам порекомендовал духом не падать, а проводить без смущения ту работу, которую мы себе наметили.

С своей стороны, он обещал устроить собрание рабочей молодежи у себя на заводе „Анчар“.

Дня через три к нам действительно явились делегаты завода, поддерживавшие все время с нами связь.

Получив от цехового комитета отказ, мы тем не менее не успокоились и подали вторичное заявление, где доказывали, главным образом, необходимость союза рабочей молодежи.

Все было тщетно и напрасно. Цеховой комитет с нашими доводами не соглашался и настаивал на ненужности союза молодежи.

На мой взгляд, их точка зрения была такова потому, что мы были членами партии большевиков, симпатий к которой цеховой комитет отнюдь не питал.

Это было первым и крупным препятствием в нашей союзной работе.

Такие же точно препятствия, как оказалось впоследствии, встретились перед молодежью при организации союза и в других районах. Особенно неблагоприятным в этом отношении оказался Обуховский район.

Пришлось для устройства собраний на фабриках и заводах и прочей организационной работы совершать прогулы, что, конечно, тяжело отражалось на нашем кармане. В дни получения жалованья нам с тов. Зиновьевым приходилось получать на 75—80% меньше, чем другие подработки. А, кроме того, за наши прогулы и малую получку приходилось выслушивать и от „старшего“ и от домашних.

Дошло дело до того, что в один прекрасный день, после получения жалованья, к моему станку

подошел т. Зиновьев и, чуть не плача, рассказал мне о том, что за прогулы и малое жалованье его родители высекли.

Для меня такой факт был особенно печален, ибо в любой момент и я мог подвергнуться такой же участи.

Это, пожалуй, было первой репрессией, примененной в отношении работника союза за время его существования.

Помимо этого препятствия, нами в своей союзной работе были встречены и другие.

В тех заводах, куда нас не пускали, мы делегатов на конференцию выбирали таким образом.

Извлекали какого-либо бойкого и сознательного товарища и поручали ему, в порядке оповещения во время работы, поставить в известность молодежь завода об организации союза и предложить утвердить хотя бы его в качестве делегата на конференцию.

На Путиловском заводе (в целом) трехтысячное собрание рабочей молодежи нами было собрано, по сравнению с другими заводами, легко.

Правда, кое-какие возражения были в завкоме даже и от большевиков, но Вася Алексеев, принявший к этому времени деятельное участие в организационной работе, все уладил.

Интерес к собранию, собираемому молодежью, в среде взрослых был настолько велик, что на него явились чуть-ли не все рабочие завода, и мы наши доклады делали чуть-ли не перед 20—25-тысячной аудиторией.

На собрании мной, Васей Алексеевым и Зиновьевым были сделаны доклады о положении рабочей молодежи, ее нуждах и задачах и о союзе молодежи. Известие об организации союза молодежи было встречено с необычайным энтузиазмом, если судить по тем оглушительным аплодисментам, которыми нас наградили.

После нас выступал ряд товарищей, которые говорили насколько нужна организация союза молодежи и обещали нарождающемуся союзу все свои силы и энергию.

Здесь же в конце собрания было решено при каждой мастерской создать ячейки молодежи и уже от них выделить делегатов на районную конференцию.

Но насколько сознательно и серьезно относились к нашим докладам юноши тяжело-индустриальных предприятий, настолько странно и невнимательно к ним относились девушки, в особенности текстильщицы.

Вспоминается следующий факт.

Должен вначале поставить читателя в известность, что в то время я принадлежал к числу „сознательных“ и приобрел сообразно этому вид.

Головы не стриг и не причесывал, одевался неряшливо, имел строго серьезный вид и на девушек смотрел только лишь, как на товарищей, того же требовал и от них.

И вот Вася Алексеев предложил мне провести собрание девушек, работающих на бумагопрядильной фабрике „Кенига“ (в Екатерингофском парке).

Крупно побеседовав с фабзавкомом по поводу жизненности союза молодежи, но, тем не менее, получив разрешение на устройство собрания, я принялся делать доклад „о положении рабочей молодежи и ее задачах“ и встретил к своему докладу такое непонятное отношение, которое заставило меня усомниться в будущем нашего союза.

В процессе доклада я услышал, что часть девушек, ближе стоящих к трибуне, бурно о чем-то спорят.

Прислушиваясь к их спору, я обнаружил, что предметом разногласий был никто иной, как я. И спорили они о моих физических качествах. Одна называла мои глаза „очаровательными“, другая находила их „гадкими“. Третьей нравились мои волосы, другой они были противны. Моя особа здесь была разобрана с головы до ног.

Аналогичные отношения к докладам мне приходилось встречать среди девушек и других предприятий.

Для меня это было непонятно.

Забросивши ради новой работы все, что мило юношескому возрасту, я не понимал их и с тоской думал о том, что если такая молодежь даже и пойдет в союз, то он очень мало от этого выиграет. Такая молодежь в союзе будет искать не работы и знания, а флирта и развлечения.

Я счастлив, что мои опасения не сбылись. С первых дней союза большинство искало в нем

знаний и нашими глазами смотрело на него. Редко, редко кто-нибудь из попавших в союз, не видя возможности в нем побалагурить и пофлиртовать, исчезал.

III

В конце апреля 1917 года (дата, к сожалению, забыта), когда от большинства фабрик и заводов делегаты были зарегистрированы (регистрация велась мной и т. Зиновьевым в мастерской, что отрывало нас от работы и порождало скандалы с цеховым комитетом, куда на нас жаловался мастер), Вася Алексеев выхлопотал помещение Путиловской школы, и там была устроена „первая Петергофско-Нарвская районная конференция рабочей молодежи“ (официальное ее название), на которой было выбрано организационное бюро.

Персонально организационное бюро состояло из следующих товарищей (все без исключения рабочие): Вася Алексеев, Зиновьев и я (большев.), Зернов (анархист), Васильев (эс-эр), фамилий остальных, к сожалению, не упомянул.

В наказе, который давался делегатами с мест, центральное место занимало желание молодежи видеть скорее свой клуб, где бы она могла полезно проводить свободное от работы время.

После выборов организационного бюро работа пошла значительно живее.

На первом же заседании бюро, которое происходило в райкоме партии большевиков (Ново-

Сивковская ул.), было констатировано, что дальнейшая наша работа зависит целиком от помещения для клуба. Если помещения не будет, то молодежь будет оторвана от нашего бюро, и этим самым работа нашего бюро будет мертвой.

Для подыскания помещения была избрана комиссия в составе: Васи Алексеева, Зернова и меня.

Это была самая, что ни на есть тяжелая работа, которая исполнялась нами в союзе молодежи за все время нашего в нем пребывания.

Средств в то время не было никаких, и надежд на их получение не было. Все домовладельцы, не имея от нас никаких гарантий об уплате, отказывали.

Как выход из положения, анархист Зернов внес предложение совершить экспроприацию комитета партии народной свободы (кадетов), который прозябал в Петергофском районе, но ведь каждый поймет, что мы с этим не могли согласиться и как большевики, и в силу тактичности.

Зернов за это обвинял нас в мелкобуржуазной идеологии, священном отношении к частной собственности и на собрании молодежи поставил в минус работы бюро.

Пробовали мы достать помещение у Совета Рабочих Депутатов Петергофского района, но там над нами только посмеялись, выразив в шутовском тоне опасение, что без присмотра старших мы будем шалить и проказить.

Заводы и фабрики тоже не шли нам навстречу, и мы уже считали, что достать помещение под союз безнадежное дело, когда случайно Вася Алексеев сумел-таки доказать райкому партии большевиков необходимость более внимательного отношения с его стороны к нашей организации.

Райком нам дал маленькую проходную комнату. Но при переезде в это помещение часть нашего бюро категорически запротестовала. Меншевики Зернов и Васильев заявили, что в кабалу и под контроль большевиков они не пойдут и против этого переезда протестуют.

Мы сделали попытку им доказать, что никакой кабалы нет, что здесь весь вопрос исключительно в помещении.

Все было напрасно.

Тогда часть бюро узурпаторским способом решила переехать и, только выполнив это решение, известила молодежь о факте переезда.

Вскоре, кляня большевиков, к нам стали захаживать и остальные члены бюро, постепенно вовлекаемые в работу.

Вначале вся наша работа выражалась в заседаниях. Наши заседания побивали рекорд продолжительности.

Бывали такие дни, когда бюро, собравшись в 6 часов вечера, часа в два ночи засыпало за слушанием доклада и, проснувшись утром, подкреплялось принесенным из лавки хлебом и открывало по докладу прения.

А прения у нас были длинные, яростные и принципиальные.

Когда было найдено помещение, на ближайшем заседании бюро был поднят вопрос о наименовании нашего союза.

Фракция большевиков, предварительно посоветовавшись с меньшевиками, предложила назвать союз „социалистический союз рабочей молодежи“, так как, по нашему мнению, это наименование давало верное определение политической физиономии нашей организации.

Как и полагается „честному“ анархисту, Зернов побагровел, возмущенно ударил кулаком по столу и предложил союз назвать „свободные юношеские федерации“!?!?

В виду того, что за наше наименование высказалась и меньшевистская и эс-эровская молодежь, к печали и горю Зернова, это было принято 9 голосами за, 1 против при 1 воздержавшемся.

Помню, что Зернов с тоскливой иронией драматично воскликнул:— Стоит ли теперь находиться в „социалистическом союзе“, наша дорога идет от вашей влево.

Но бедняге пришлось до самой смерти идти сзади нас по нашей же дороге.

Досужие языки и все пренебрежительно относившиеся к нашей молодой организации это название переработали и стали называть „союз социалистических младенцев“.

При выборе лозунга союза произошел еще больший шум.

Вася Алексеев предложил союзу взять лозунг социал-демократов: „Пролетарии всех стран, соединяйтесь“.

Васильев настаивал на лозунге социал-революционеров: „В борьбе обрешь ты право свое“.

А Зернов предложил настолько „ужасный“ анархический лозунг, что мы, не сдержавшись, расхохотались и этим подлили масла в огонь.

Он заявил, что „кровью“ добьется принятия его предложения и громогласно вызвал меня на дуэль.

Я его вызова не принял, а, будучи в то время человеком темпераментным, тоже предложил бюро Зернова „отвезить“.

И вот, несмотря на возмущение Васи Алексеева, „все бюро прижало Зернова в угол и добросовестно избilo“.

Только тогда Зернов с удовлетворением заметил, что „голосование у нас идет, как в итальянском парламенте“, и успокоился. К тому же мы его еще исключили на два заседания, чем несказанно ему польстили.

Лозунг социал-демократов был принят десятью голосами за и двумя против.

На последующих заседаниях нами разбирались устав и программа „социалистического союза рабочей молодежи“, которые были разработаны Васей Алексеевым и мною.

В точности я их не помню, но в общих чертах они заключаются в следующем:

Устав С. С. Р. М.

1) Членом Социалистического Союза Рабочей Молодежи может быть всякий подросток от 13 до 18 лет, работающий на заводе, фабрике или

ином предприятии, а также признающий программу и устав Союза.

2) В члены С. С. Р. М. подростки принимаются без различия религиозных воззрений.

3) Члены Соц. Союза Раб. Мол. могут быть одновременно членами любой политической (кроме буржуазных) социалистической партии.

4) В члены Союза подростки принимаются по рекомендации члена какой-либо социалистической партии или союза.

5) Разрешение родителей или лиц, их заменяющих, на вступление подростка в Союз не требуется.

6) Авторитетным органом Союза Молодежи является общее собрание молодежи, или конференция, собираемые не реже одного раза в месяц и полномочное при наличии на них больше половины всех членов.

7) Общее собрание выбирает организационное бюро на срок 3 месяца, дает ему руководящие указания, заслушивает его отчеты и доклады, обсуждает все вопросы как внутренне-союзного значения, так и обще-политического.

Организационное бюро.

Избираемое на 3 месяца, бюро руководит всей текущей работой Союза, созывает общие собрания и выполняет его задания и постановления. Организационное бюро ведает денежными делами Союза и отчет дает общему собранию и ревизионной комиссии.

Оно же ведает учетом членов Союза.

Устав был очень короток, недоговорен и не полон, но для нас это был шедевр литературной и творческой работы.

А кроме того наличие устава несколько узаконяло наш Союз и давало ему солидную окраску.

Должен сообщить, что обсуждение данного устава происходило с 8 часов вечера до 11 час. утра с перерывом на сон с 2 ч. ночи до 7 ч. Всего, следовательно, мы потратили на него 10 часов.

Прения, и довольно яростные, велись по следующим вопросам.

Кто-то требовал права вступления в Союз для учеников всех без исключения училищ. Предложение было отклонено, но неофициально без занесения в устав было разрешено вступление в Союз учеников ремесленно-заводских училищ, в частности Путиловского.

Зиновьев настаивал на включении в устав параграфа, запрещающего вступать в Союз подросткам, связанным с религией и с какими-либо партиями (хотя бы и большевиков). На основании этого параграфа Васе Алексееву, мне и Зиновьеву, Зернову, Васильеву и еще двум товарищам пришлось бы или покинуть Союз или оставить партию.

Из 10 человек за предложение высказалось 5; таким образом если бы вопрос был поставлен на голосование, то предложение Зиновьева прошло бы или получилось бы равное количество голосов, что для нас было бы также невыгодно, ибо тогда при одинаковом количестве голосов перевес

имела бы та сторона, за которую высказался председатель. Председательствовал Зиновьев. Выручил нас Зернов. Возмущившись мыслью о возможности ухода от анархистов, он вскочил, закричал на всю комнату:—Чтобы я порвал с анархистами? Никогда. Накось выкуси!—и поднес члену бюро под нос кукиш. Тот не стерпел обиды и дал Зернову в зубы.

Я учел этот момент и внес предложение исключить ударившего за буйство на два заседания.

Большинством он был удален, и при голосовании большинство получилось за наше предложение (5 из 9).

И. Кулик

ДНЕВНИК КРАСНОГО ПАРТИЗАНА

Январь 1918 года. Первое советское правительство Украины, находясь в Харькове, уже начинало вооруженную борьбу с национальной контр-революцией, но первые жертвы были понесены не в бою. Киевские газеты принесли кошмарное известие: 5 января в Умани, моем родном городе, пьяные офицеры полубатьковцы во время заседания Совета убили—не расстреляли, а просто тут же в помещении Совета убили—двух крупных, ценных партработников: товарища Алексея Пионтковского, члена ВУЦИК'а, и товарища Урбайлиса—члена уманского парткома.

Я близко знал обоих, издавна работал с ними. Известие об их гибели совершенно выбило меня из колеи, лишило работоспособности.

Сверлила в мозгу одна мысль, поглотившая, убившая все мои остальные думы:

— На фронт.

Я повел переговоры с народным секретариатом по военным делам о формировании отряда,

думал направиться с ним к Киеву, уже осаждавшемуся Коцюбинским и Муравьевым. Но составом отряда я был очень недоволен: все солдаты—одного из стоящих в Харькове полков старой армии; слишком на них надеяться не приходилось, так как они уже были достаточно разложены и небоеспособны, как и все старые фронтовики в те времена.

Счастливая неожиданность вывела меня из этого положения. Ко мне пришло несколько членов киевского социалистического союза рабочей молодежи: Сема Мальчиков, Сема Сискис, Мотя Шейнин, М. Аронский.

— Мы слышали, тов. К., что вы на Киев собираетесь, примите и нас в свой отряд, а то мы приехали в Харьков, хотели на фронт, а нас здесь для охраны города держат... С этим и без нас справятся, а на фронте мы более пригодимся.

Я смотрел на восторженные, озаренные стремлением к подвигу лица, на неокрепшие молодые руки, неумело, но так твердо, уверенно сжимавшие винтовки, и два чувства боролись во мне. Я знал, что эти юноши самоотверженно, без колебания будут бросаться в огонь, но ведь принять их—значит повести их на убой, потерять и, быть может, бесплодно, столько будущих строителей коммунистического общества.

— А стрелять-то вы умеете?

В глазах юношей вспыхнул огонек возмущенного задора:

— Ничего, справимся, хоть в армии не были еще. А не хотите нас принять—пойдем сами на фронт. Нас тут десятка полтора киевлян да полтавчан с пяток. Ребята все дружные, работу на фронте найдем.

Я поспешил успокоить обиженных молодых товарищей.

— Ладно, отправляйтесь в отдел снабжения за обмундированием. Сегодня ночуем в казармах, а завтра с утра двигаем на фронт.

Раздались звонкие повеселевшие голоса:

— Какое там обмундирование? До фронта и так доберемся, патронов побольше и чтобы паровоз был хороший—скорее бы на позиции.

Я вспомнил о том, что вошедшие в отряд фронтовики в первую очередь потребовали обмундирования и жалованья, и понял, каким неоценимым приобретением для отряда является киевская молодежь. Теперь у нас был кадр, на который можно было безоговорочно положиться, который не спасовал бы, не выдал бы ни при каких трудностях.

А трудности предстояли немалые.

* * *

23 января 1918 г. Торжественный, незабвенный день отправки на фронт. Отряд выстроился у тогдашнего помещения народного секретариата и президиума ВУЦИК'а—бывшей редакции буржуазной газеты, по Сумской. Товарищи Скрыпник, Затонский, Коцюбинский вышли на балкон

напутствовать нас. И думалось: для многих из нас это последнее напутствие. Но веселые, восторженно-самоуверенные лица юношей не давали думать о грядущих смертях и ударах.

— Преклоните знамена перед рабоче-крестьянским правительством!

Величественно, плавно склоняются алые полотнища, и тотчас же руки юных знаменосцев взвивают их в высь, будто хотят этим поведать нам затаенную, прекрасную своей несбыточной мощью, мечту: этим же молодым отважным рукам история судила водрузить красное знамя коммунизма на шпиле Эйфелевой башни.

Один из юношей хотел держать речь. Но он смог только сказать:

— Товарищи, мы идем прокладывать вам путь... вместе с вами...

И слова застряли в горле потрясенного величием момента юноши.

Но и этих слов было достаточно. Они нам дали больше энтузиазма, зажгли наши сердца ярче, чем могли бы сотни речей красноречивейших ораторов.

И невольно возникла мысль: мы ошибались, недооценивали рабочую молодежь, когда считали ее грядущим резервом борцов за коммунизм. Этот резерв уже пришел, уже влился в наши ряды. И не мы прокладываем путь для подрастающих поколений рабочей молодежи—молодежь прокладывает путь к коммунизму с нами и, нередко, впереди нас,

*
*
*

Нас отправили не на Киев, а на Кременчуг, захваченный к тому времени четырьмя полками—Орловским, Брянским, Севским и Елецким—украинизированными и снабженными гайдамацким командным составом. По самым скромным подсчетам, у врагов было свыше 6.000 штыков, а в красных отрядах, наступавших на Кременчуг, едва насчитывалось 300: по сто в Кременчугском и Полтавском отрядах, да около ста в нашем, принявшем временное название „Добровольного отряда Червоного Козацтва“.

Медленно передвигаемся цепями со стороны ст. Потоки на кременчугский вокзал. Ленивая, нестройная перестрелка. Вдруг кто-то из кременчужан, случайно попавший в наш отряд, вносит сумасбродно-дерзкое предложение:

— Товарищи, бросим эту волюнку, выделим часть отрядов и ворвемся в город, в тыл гайдамакам, через хутор Череднички.

Я собираюсь возражать: тогдашняя примитивная тактика „эшелонной войны“ почти не знала еще маневров и обходных действий, и побеждал тот, кто захватит железнодорожную станцию. Но молодежь восторженно подхватывает заманчивое предложение кременчужанина, и убивать ее революционный пыл в первом же бою не решаясь. Большая часть отряда, с ад'ютантом тов. Я. Львом во главе, движется в обход, а мы с 30—35 наиболее надежными товарищами врываемся в город через хутор. Вначале противник,

не ждавший этого, приходит в смятение, и мы захватываем несколько улиц. Но вскоре враги выясняют наши силы и устраивают засаду на Троицкой площади. Нас обстреливают из-за всех заборов, с крыш домов, даже с куполов собора. После короткого боя, в котором наша горсточка отважных, но неопытных бойцов потеряла 2 убитыми и 6 ранеными, мы оказываемся осажденными в детском приюте Чуркина. Переводим детишек в подвал, где они в безопасности, а сами отстреливаемся из окон, зная, что гибель всех нас неизбежна, если во-время не подоспеет подкрепление. А молодежь не желает ждать, требует вылазки.

Первая вылазка неудачна, и мы, понеся потери, вновь загнаны в приют. Бронемашина, пришедшая к нам на помощь, приводится в негодность разрывными пулями врагов, искромсавшими шины в клочья.

Но молодежь не падает духом и предпринимает новую вылазку. Последнюю: лучше погибнуть в открытом бою, чем быть перерезанными гайдамаками, если они захватят приют. Вырываемся стремительно на улицу, подымаем стрельбу... и враг, не выдерживая нашего отчаянного напора, подавленный не силой, не численностью, а упорством и безумной отвагой юных красных бойцов, обращается в бегство.

Вокзал к тому времени уже был занят Красными отрядами. После десятичасового упорного боя город в наших руках.

Я получил в этом бою два незначительных

ранения и должен был остаться в строю, так как заменить меня в отряде было нечем: предстояли новые сложные боевые задачи, а среди находившихся в отряде старых солдат все явственнее проявлялось разложение.

И все раненые юноши отказались пойти в госпиталь и остались в эшелоне, подвергаясь неоднократно до выздоровления всем опасностям боевой обстановки, лишённые необходимого ухода и питания.

* * *

Солдаты-фронтовики, вышедшие с отрядом из Харькова, скопом дезертировали после попытки вызвать в отряде бунт, сразу же парализованный киевской молодежью. Нас осталось 32 человека, включая меня и ад'ютанта.

Между тем отряд получил боевой приказ, для выполнения которого даже по тогдашним временам необходимо было несколько сот опытных бойцов: занять город Умань, где стоял тогда гайдамацкий полк, охранять заводы в Уманском и Липовецком уездах, очистить и охранять железнодорожную линию Цветково-Вапнярка.

Выхода не было, оставалось попытаться хотя бы частично выполнить приказ, пользуясь ничтожным наличием штыков в отряде.

Впервые с чувством неуверенности в успехе я обратился к отряду. Огласивши приказ, я сказал:

— Товарищи, выполняя этот приказ, мы идем на верную гибель. Я предоставляю каждому из

вас, кто этого пожелает, право оставить отряд теперь же.

И не оказалось ни одного малодушного. Некоторые возмущались самой постановкой вопроса.

— Как, оставить в руках гайдамаков Умани! Раз нет пополнения—справимся и сами!

И справлялись.

Творили чудеса, непостижимые даже в те дни, когда подвиги были массовым явлением. Сам теперь с трудом веришь, когда вспоминаешь о проделанной тогда молодежью героической работе. Три десятка смельчаков при 4-х пулеметах, отрезанные от остальных красных частей, разоружили гайдамацкий полк в 700 чел., захватили 12 пулеметов, арсенал в 10.000 винтовок, поддерживали без единого расстрела полный порядок во всем уезде, организовали, вооружив рабочих, охрану двух десятков сахарных и винокуренных заводов, охраняли длинную железнодорожную линию, выезжая туда мелкими группами время от времени.

И при всем этом у них хватало времени для партийной, пропагандистской работы. Уманьская парторганизация значительно оживилась и выросла за время пребывания там отряда.

Наш отряд держался в Умани, отрезанный от центров и почти сплошь окруженный врагами, еще три дня даже после отступления советской власти из Киева под напором немцев. Отважное упорство доходило, пожалуй, до абсурда: отряд пол-

ностью (не исключая, каюсь, и командного состава) отказался выполнить трижды повторенный главкомверхом тов. Коцюбинским приказ об оставлении Умани.

От верной гибели нас спасла трагическая случайность, оказавшаяся для нас, впрочем, счастливою: другой „советский“ отряд (Сиверса 2-го) напал на наш отряд и насильно вывез его из Умани.

Наш отряд, слегка пополненный и принявший название „Уманьского отряда ВУЦИК'а“, находился на Бахмачском участке фронта, которым командовал т. В. Примаков ¹⁾.

Получаем боевое задание: выбить „вильне козачество“ из ст. Круты. Значительного отпора мы не ждем, едем с песнями, даже не захватив достаточного количества патронов.

Тов. Сема Мальчиков, вообще болезненный, захворал и на этот раз. Однако, не взирая на мои возражения, он едет с нами. Вдруг, не доезжая до ст. Плиски, мы встречаем один из красных отрядов, отступающий с поля сражения совершенно разбитым. Из переговоров выясняется, что по линии наступают крупные немецкие силы, которых здесь никто не ждал так скоро.

Штаб участка фронта совершенно не предупрежден о грозящей опасности. Вопрос для меня ясен: необходимо во что бы то ни стало задержать продвижение немцев, покуда наш штаб не примет соответствующих мер. Иначе—потерян весь участок фронта.

¹⁾ Теперь командир корпуса червоного казачества.

Но тов. Мальчиков едва держится на ногах, и допускать его к участию в бою значит — бессмысленно погубить его. А он слишком ценен для нас. Пытаюсь убедить его вернуться в Бахмач, но убеждение не действует.

Тогда я пускаюсь на хитрость:

— Необходимо доставить срочное и секретное донесение тов. Примакову; кроме вас никому не могу этого доверить.

И видя, что он еще колеблется, я применяю последнее средство и принимаю начальнический тон, столь необычный в наших отношениях:

— Не забывайте, что вы в строю. Я вам приказываю, извольте подчиняться без разговоров.

Это наконец подействовало, и тов. Мальчиков отправляется встречным эшелоном в штаб.

В ожесточенном бою, продолжавшемся всего лишь час, мы расстреляли все патроны и понесли колоссальные потери: из 86 человек, находившихся в цепи, невредимыми вернулось в Бахмач лишь 18. Но мы задерживали продвижение немцев до прибытия подкрепления в лице 4-го Чехо-словацкого полка (чехо-словаки, пробиваясь из Украины в Сибирь, временно поддерживали нас в борьбе с немцами). Общими усилиями удалось отбить немцев и занять станцию Плиски.

Я, к сожалению, не мог оставаться на позициях до конца боя и принужден был, сдав командование тов. Логинову, вернуться в Бахмач, тая как получил ранение руки. Тов. Мальчикова я

застал в постели, в сильном жару. Увидя меня, он произнес:

— Я вам никогда не прощу этого. Вы лишили меня возможности участвовать в бою... в первом бою с немцами...

Чтобы в достаточной мере оценить это настроение молодежи, надо вспомнить ту панику, какая охватила большинство наших отрядов при приближении немецких войск.

* * *

В самые тяжелые дни, когда положение казалось безвыходным и безнадежным, киевская молодежь в нашем отряде не теряла бодрости, жизнерадостности, уверенности в победе.

Между тем советская власть и Красная гвардия терпели все новые удары и поражения. Сильным моральным ударом для многих из нас явился Брестский мир, действительная сущность которого была ясна далеко не всем. В отрядах началось разложение, руководители все больше проникались пессимизмом. „Умереть с музыкой“ — таково было настроение большинства. Помнится, в таком духе я выступал на одном из общих собраний отряда.

— Революция гибнет. Нам, последним горстям, способным еще умирать, остается одно: умереть в бою „с музыкой“, как умирали парижские коммунары.

Какую бурю возражений вызвали мои слова! Первым напустился на меня, понятно, мой обыч-

ный оппонент т. Мальчиков. За ним целый ряд других. Задорно, даже жестоко разбивали меня, что называется „по косточкам“.

— Разве может революция погибнуть? Это только один из зигзагов... Погибнем мы, но революция победит, не может не победить!

И сознание, что ты разбит, не вызвало чувства досады или недовольства. Невольно возникало преклонение перед этой непоколебимой, горячей верой в революцию, которую не могут сломить временные удары, как бы тяжелы они ни были. Чувствовалось, что истоки этой веры не в юношеском увлечении, а в неодолимой мощи того великого класса, из недр которого вышли эти юные борцы.

И проникался все сильнее их уверенностью: революция не погибнет; в этой яркой молодой вере, в неудержном, отважном стремлении этой молодежи к грядущим победам залог ее будущего.

* * *

Был в те времена такой неприятный порядок заведен: после удачных боев их участники получали денежную награду. Я говорю „неприятный порядок“, так как он разлагал малоустойчивых бойцов, вызывал корыстолюбивые настроения. Но, с другой стороны, при полном отсутствии регулярного снабжения (питались тем, что захватят на фронте) „наградные“ деньги служили для бойцов значительным подспорьем, облегчавшим их материальное положение.

После одного из боев, где наш отряд особенно отличился, командование фронта вручило мне некоторую сумму „наградных“ для бойцов, получилось по 50 руб. на каждого—по тогдашним временам не так уж мало. Началась раздача, но, как только очередь дошла до юношей-киевлян, они упорно стали отказываться принять деньги.

— Мы не ради денег дрались. Это нас оскорбляет.

Такое положение грозило обострением отношений в отряде между принявшими уже деньги и отказавшимися их принять. А несогласия внутри отряда отражаются на его боеспособности. Допустить этого нельзя было. Растолковав это киевлянам, я заставил их, скрепя сердце, принять деньги.

Но денег этих они на себя тратить не стали. Проездом через Киев многие из юных бойцов оставили свои „наградные“ местным товарищам:

— Для нужд союза пригодятся. Мы их приняли, как боевую награду. А тратить их на себя, как деньги, мы не намерены. Мы не ради денег на фронт пошли.

* * *

Наш отряд завоевал себе репутацию одного из лучших на Украине. Ему часто поручали наиболее опасные, рискованные задания. Понятно, этой репутацией отряд обязан был не руководителям, не командному составу, весьма неопытному в военном деле, а исключительно безмерной

отваге и самоотверженности киевской рабочей молодежи, составлявшей основной кадр отряда.

Репутация отряда, как „отчаянного“, не останавливающегося ни перед какими препятствиями, неоднократно облегчала ему выполнение боевых задач, производя психологическое воздействие на неприятеля. Так было и в Таганроге, куда отряд прибыл без командира, сопровождая эвакуировавшееся туда украинское советское правительство и государственную кассу. Вот эту-то кассу вздумали „отбить у большевиков“ левые эс-эры, властвовавшие тогда в Таганроге.

Они выслали на вокзал свой партийный отряд, превосходивший численностью наш втрое, окружили эшелон, потребовали выдачи кассы.

Разбивать разложенные гайдамацкие полчища, состоящие из нежелающих воевать крестьян-фронтовиков, вещь не такая уж трудная; гораздо сложнее дело, когда приходится драться с таким же партизанским отрядом, да еще „идейным“, состоящим из членов партии, претендующей на „революционность“.

А наши ребята не растерялись. Адъютант сошел за командира.

— Выкатывай пулеметы. Это вам не шутки — с Уманьским отрядом заводить. Киевская молодежь отстоит. Почище эс-эров били!

„Уманьский отряд — киевская молодежь“ — эти слова оказали магическое действие на эс-эров. Они заметно заколебались. А когда в дверях показались наши пулеметы, ряды эс-эров сразу же поределели, и понемногу они разошлись вовсе.

— Да ну их, с этими головорезами-киевлянами дело иметь. И вправду, из-за кассы не стоит заводить.

Такая же картина повторилась, когда совершенно разложенный Екатеринославский отряд решил арестовать в Таганроге свой исполком. Одним своим видом, вернее — именем, наш отряд навел панику на зарвавшихся екатеринославцев.

Эс-эры, правда, не уgomонились, и возни с ними было еще достаточно в Таганроге. Вздумал их военный комиссар Радионов потребовать, чтобы все наши бойцы взяли у него разрешение на право ношения оружия. Мера, рассчитанная на то, чтобы выяснить наши действительные силы. Но для нас, партизан, это было неслыханным оскорблением.

— Если мои ребята встретят ваших, не снабженных разрешениями, — говорил мне Радионов, — то разоружат их.

— Советую вашим ребятам не встречаться с нашими, — ответил я, — не то худо вашим будет.

Мои слова оправдались. Эсэровский патруль обезоружил нашего пулеметчика „Толстомордого“¹⁾, встретив его в одиночку на улице.

И киевляне, даже без моего ведома, в два счета обезоружили весь злосчастный эс-эровский патруль. А эс-эры не рискнули ничем реагировать на это.

¹⁾ Двух наших пулеметчиков киевляне прозвали „Кулемордым“ и „Толстомордым“; клички до того привились, что все мы забыли действительные имена пулеметчиков.

Толстомордому же влетело от киевских ребят основательно, как это он мог допустить, чтобы какие-то эс-эры отобрали у него освященное в боях оружие.

* * *

Однако в Таганроге нам пришлось отряд ликвидировать. Пополнение, набранное в Екатеринославе, разложилось совершенно, а воевать против немецкой армии горсточкой юношей-киевлян было бесцельно.

Кое-кто из бойцов покрепче влился в отряд Червонного Казачества т. Примакова. Только киевская молодежь держалась попрежнему спаянной группой, очевидно замышляя вновь коллективное использование своих сил, своей кипучей энергии, не истощенной еще, не ослабевшей, несмотря на колоссальные трудности, перенесенные в период боев и отступления.

— Куда же вы теперь думаете направиться?— спросил я как-то киевлян.

— А куда же нам еще? Мы все—обратно на Украину, в подполье: там мы больше всего пригодимся.

Прощаясь, они говорили:

— Скоро встретимся в Красном Советском Киеве.

Я глядел на их озаренные, открытые и смелые лица, с какими они шли в бой, и верил, не мог не верить, в эту скорую встречу.

* * *

Я набросал лишь несколько штрихов героического эпоса небольшой горсточкой киевской рабочей молодежи. Но эти юноши не были похожи на сказочных, романтических героев. Они творили свои светлые подвиги просто, непосредственно, сами не замечая своего героизма: иначе они и не могли поступать.

И в этом умении превращать подвиг в быт, в этом строительстве яркого, красочного быта коммунистической революции—самая их ценная, самая красивая черта.

Этим они заставили нас еще крепче верить, что не может не победить класс, породивший такую молодежь, обладающий такими резервами.

Вот почему так неизбывны, так неизгладимы воспоминания о них.

Ярошевский и Б. Гарин

ДРУЖИНА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

(Дружина союза Соп. Раб. Молодежи в декабрьские и январские дни 1917—1918 гг.)

Это было в те дни, когда одесский пролетариат, пробужденный подземными толчками контрреволюции, начал думать о защите революции.

Передовая рабочая молодежь Одессы поставила себе целью захват власти пролетариатом не только путем словесной агитации, но и путем вооруженной борьбы за эту власть.

Это было в сырой, туманный вечер. К союзу СРМ, тогда еще помещавшемуся на Ст. Портофранковской ул., стали подходить молодые рабочие, знавшие, что в этот вечер должна решиться их дальнейшая судьба.

Этот вечер—поворотный пункт в деятельности тех первых пятидесяти, которые вошли в состав дружины ССРМ. Первая встреча старыми красногвардейцами молодых была не особенно дружественной, и многие, в том числе тт. Чижикив и Слепов, колебались было одно время—вручить

ли винтовку молодежи. Наконец получены „новейшего образца“ „скорострельные“ винтовки, повидимому, отбитые в русско-турецкую кампанию лихими казаками. Довольно внушительные с виду, эти „берданки“ были весьма слабо приспособлены к „вооруженной борьбе“.

Дисциплинированность молодежи, беспрекословное исполнение всех распоряжений командования Красной гвардии, с энтузиазмом, в короткий срок, изменили отношение красногвардейцев, и мы были признаны равноправными членами Красной гвардии.

Это было за несколько дней до декабрьских боев 1917 г. Дружина молодежи в эту ночь несла охрану Красной гвардии, и, когда посреди глубокой ночи раздался призыв к оружию, в руках молодежи оказались те значительные однозарядные „пушки“, о которых мы раньше говорили. Взволнованный тов. Урицкий сообщил, что сейчас нам предстоит первое боевое крещение и что для этой цели необходимо 20 охотников. Охотниками оказались все, и потому по выбору тт. Урицкого и Учителя были выделены 20 человек. Задача заключалась в следующем: гайдамаки, чувствуя назревающие события, под прикрытием конницы, под носом Красной гвардии, вооруженные до зубов, пытались вывести из гаража по Софиевскому переулку находившиеся там автомобили. Эти автомобили нужно было отбить у гайдамаков. Рассыпавшись цепью, мы на углу Софийской и Конной заметили движущиеся тени автомобилей. Точно электрический ток ударил по

всем дружинникам, и, не сговорясь, из 20 гло-ток вылетело могучее „стой“.

Опешившие было вначале, гайдамаки быстро пришли в себя и, выскакивая из автомобилей, пытались оказать сопротивление, но, окруженные со всех сторон дружинниками, гайдамаки не могли ничего предпринять и вынуждены были сдаться. Помнится, как в пылу разоруживания некоторые дружинники сгоряча сносили все оружие на руки тов. Урицкому, и у последнего за плечами и на руках оказалось довольно большое количество винтовок и шашек. Вследствие такого „вооружения“ т. Урицкий чуть не погиб.

Одному из гайдамаков удалось спрятаться за автомобиль, и когда тов. Урицкий, заметив его, попытался обезоружить, последний, видя его положение, вместо сдачи оружия, прицелился винтовкой ему в грудь. И только вмешательство наше и тов. Учителя спасло Урицкого.

Результат схватки—26 пленных гайдамаков, 1 офицер, такое же количество трехлинейных винтовок и сабель и несколько „наганов“; ехавшая же сзади гайдамацкая конница лихо показала тыл.

Не меньшее значение для подготовлявшегося выступления Красной гвардии имели находившиеся на пробочном заводе „Арпса“ автомобили, охранявшиеся двумя сербскими ротами, прекрасно вооруженными и весьма враждебно относившимися к намечавшемуся выступлению рабочих. Штабом Красной гвардии решено было одним ударом убить двух зайцев: захват для боевых операций автомобилей и разоружение ненадежной воинской части.

Группа в 7 дружинников, в том числе и убитый впоследствии т. Вигман, отправились в Слободской район милиции, где жил старик Трофимов, оттуда направилась в Слободской район КПУ, где ожидала шоффера Румчерода и несколько красногвардейцев во главе с тов. Пшебыльским. Затем все направились на Горскую ул. на Сл.-Романовке, на завод Арпса. Подкравшись к часовому, дружинники Вигман и Смирнов обезоружили последнего, при чем „грозное оружие“, нагнавшее ужас на часового, заключалось в револьвере „лефоше“ без единого патрона и в бомбе без капсули. Эта же бомба не меньшее впечатление произвела и в помещении, где находились спящие сербы.

Ворвавшись туда, наши товарищи бросились к стоявшим в козлах винтовкам, а тов. Вигман, высоко держа никуда негодную бомбу, заставлял сербов исполнять все распоряжения красногвардейцев. Минут через 15 все было закончено, оружие было в наших руках, и два офицера с двумя ротами солдат были взяты в плен десятком почти невооруженных людей. Только после этой операции из Красной гвардии прибыло пополнение из дружинников и красногвардейцев, которое закончило операцию вывозом 46 автомобилей, 4 мотоциклов, 485 винтовок австрийского образца и 15 ящиков патронов.

Эти незначительные сами по себе события были той искрой, которая раздула пожар декабрьских дней, в результате которых победившая гайдамачина развернулась во-всю. Именно здесь,

в эти тяжелые, критические дни, рабочая молодежь доказала свою революционность и сдержала обет молодого дружинника, который давался при вступлении в дружину. День убийства тов. Кангуна был днем, внесшим большое смятение в ряды стариков-красногвардейцев. И только молодежь была спокойна и хладнокровна. Самые ответственные боевые задачи в эти тяжелые для пролетариата дни были возложены на молодую полусотню. Охраняя в начале боев подступы со всех сторон к штабу гвардии, дружина затем была брошена в самый разгар боя. Дружинник был и на телефонной станции, дружинника можно было встретить и у вокзала. Глубокой ночью его можно было встретить и в качестве разведчика в тылу гайдамацких куреней.

В этих боях дружина окончательно оформилась и, спаянная кровью погибшего дружинника тов. Вигмана и ранами целого ряда других, в дальнейшем оказалась наиболее способной боевой единицей.

Время от декабрьских по январские дни дружина употребила на военную учебу, перемежавшуюся с работой в Союзе.

Декабрьское поражение, конечно, не только не остановило пролетариата в его стремлениях к захвату власти, но, наоборот, поставило это во главу угла. Дни декабря и начала января были подготовительными этапами к этому захвату.

Фактический захват власти прошел вполне безболезненно, и к утру весь город находился в руках Советов РД, за исключением территории.

В тот же день подозрительное поведение гайдамаков заставило пролетариат насторожиться — и не напрасно. Когда часам к 12, 16 января, дружина сменила охранявшую телефонную станцию красногвардейскую часть, гайдамаки открыли боевые действия по всему городу. Установив на крыше дома Пташникова, на углу Александровского пр. и Успенской, пулеметы, гайдамаки начали обстрел станции, пытаясь по Полицейской ул. подойти к станции на броневике. В это время другая часть дружинников с боем заняла юнкерское училище на Итальянском бульваре. К ночи гайдамакам удалось вновь туда ворваться и расстрелять захваченных в плен 6 красногвардейцев, среди которых был и дружинник тов. Алеша Злотопольский.

После захвата всех опорных пунктов Красной гвардией дружина получила приказ занять казарму одного из гайдамацких куреней на 3-й станции, против еврейского кладбища. Во главе с тов. Учителем наиболее отборная часть дружины, вместе с группой моряков, отправилась из Румчерода к месту назначения, при чем указания о действиях получались тов. Учителем непосредственно из штаба гвардии. Заняв посты и захватив в свои руки охрану оружейных складов и броневиков, мы пробыли несколько часов в самой пасти гайдамаков, удерживая у себя, на всякий случай, присланного соседним куренем представителя. Среди глубокой ночи из штаба нам сообщили, что гайдамаки вновь нападают и чтобы мы немедленно отступили. В это же

время со всех сторон по нас открыли стрельбу из пулеметов и винтовок, и мы, отстреливаясь, отступили по направлению к Большому вокзалу, откуда наша группа получила приказ занять и охранять „Одессу-Главную“. Через некоторое время оттуда были сняты тов. Чижиковым и направлены в штаб гвардии, откуда сейчас же часть дружины была назначена участвовать в боях под вокзалом и штабом округа. В этих боях погиб также дружинник тов. Олянкин.

Декабрьскими и январскими днями боевая работа дружины молодежи не кончена. Не менее славные страницы в историю борьбы рабочего класса и рабочей молодежи она вписала на румынско-немецком фронте, пройдя путь от Одессы до Донецкого бассейна и дав большое число бойцов в начавшую организовываться Красную армию.

Много лучших товарищей из дружины погибло на разных фронтах и в подпольи, не меньшее число выдвинула она в качестве активных строителей советского государства.

В. Раствований

ПОД ТРИПОЛЬЕМ

Мобилизовано было всего комсомольцев около ста человек, из них шесть девушек. Нас влили во 2-й Киевский полк, распределили по всем ротам, и через несколько дней мы уходили с полком из города под звуки боевого марша.

Мы направлялись для ликвидации грозной банды, во главе которой стоял „батько“ Зеленый. Наш полк состоял из темных, несознательных красноармейцев — мобилизованных крестьян, большая часть которых ранее бывала в бандах и которые даже не скрывали своего плохого отношения к Соввласти и к комсомольцам, находившимся вместе с ними. Были случаи, как, например, в 1-й роте, состоявшей сплошь из банды известного Григорьева, перешедшего на нашу сторону, когда на фронте у комсомольцев снимали звезду с их шапок и еще здорово избивали за то, что они носили коммунистический знак.

Будучи брошенными в этот омут темноты, мы сразу почувствовали, что начало плохое, но мы не падали духом и всеми силами старались агити-

ровать и раз'яснять им их неправоту. Помню Мишу Ратманского, как он бегал на всякой стоянке по всем ротам, собирал красноармейцев и горячо доказывал им, что Соввласть есть подлинная рабоче-крестьянская власть. Я уверен, что если бы с нами не было другого, интернационального отряда, то мы бы даже до Триполья не успели дойти.

Не доходя до местечка Обухова, находящегося в 10—12 верстах от Триполья, к нам навстречу прискакало запыленных 8 кавалеристов, которые принесли нам первое страшное известие: советский отряд, состоявший из 150 кавалеристов, в'ехал в Обухов и, не встретив бандитов, разместился по избам и разлегся преспокойно спать, не подозревая, что на площади местечка большой цепью было спрятано около 200 бандитов, вооруженных с головы до ног. Под самое утро раздалось громовое „ура“ по всему местечку, и красноармейцы, не успев одеться и выбежать, почти все были перерезаны. Остались только эти восемь человек из всего отряда.

Это известие нас только озлобило, и мы дали себе слово не давать пощады бандитам. Пойманных около Обухова трех шпионов мы немедленно расстреляли.

Переночевав ночь в Обухове, мы были утром разбужены сильной пушечной канонадой. Это стреляли наши орудия и пушки нашего бронепарохода со стороны Днепра.

Через несколько часов после непрерывного боя мы подошли к селу Триполье, наседая на

зеленовцев, которые отступали шаг за шагом. В село войти было трудно, так как с хат и ото-всюду бандиты сильно отстреливались. Погода была жаркая, солнце палило, и скоро от пуль и снарядов стали загораться одна за другой крестьянские избы. Бандиты наверно поняли, что еще немного, и вся деревня будет сожжена, и, как бы сговорившись, быстро отступили из села. Там воцарилась подозрительная тишина.

Соблюдая разные военные предосторожности, мы вошли в пустое село, пустое потому, что из села не только бандиты, но и все крестьяне поголовно ушли. В Трипольи остались старики, больные и дети, да и те попрятались по погребам и сараям. Так велик был страх и ужас у крестьян перед Красной армией. Крестьянство, разжигаемое провокаторами эс-эрами и петлюровцами, имело понятие о Красной армии, как о грабителях и насильниках, руководимых „жидами“-коммунистами.

Потом началось.

Нас известили, что продовольствие из Киева не получено, и что таковое надо самим доставать; среди красноармейцев появилось недовольство.

Если бы в это село вошла банда, то крестьяне ее накормили бы, напоили, потому что считали бы ее своей, но в лице Красной армии они видели только врагов. Куда ни заходили красноармейцы просить поесть, всюду встречали один ответ, что ничего нет.

Измученные, изголодавшиеся красноармейцы, озлобленные повальными отказами со стороны

крестьян, перестали просить и даже требовать, а стали сами делать тщательные обыски, не многим отличавшиеся от грабежей. Появились кабаны, курицы, заискрились костры.

Триполье находится в долине, окруженной мрачными горами, и две наших роты были отправлены туда, в эти горы, в засаду.

Наша рота лежала на левом фланге. Погода была прекрасная. Мы были веселы, ничего плохого нам даже на ум не приходило, лежали и стреляли без цели, а если бы нам и указали цель, мы не всегда бы попадали, ибо за несколько дней обучения мы с винтовками как следует обращаться не умели.

Потом началась перестрелка с правого и левого фланга. Она все усиливалась. Вдруг передали по цепи, что связь с правым флангом прервана. Началась паника.

Пули начали свистеть сзади нас; прибежал к нам без винтовки красноармеец и, отдуваясь от быстрого бега, принес нам страшную и странную весть, что зеленцовцы уже в селе и безжалостно расстреливают, убивают всех наших...

Как выяснилось потом, дело произошло таким образом.

Перед правым флангом показалась движущаяся ползком цепь зеленцовцев. Наши открыли по ним беспорядочную стрельбу. В начале боя ротного командира не было, вследствие чего сразу создавалась паника: растерявшийся полуротный пробовал командовать, отдавая приказ за приказом, чтобы стрелять по ползущим бандитам,

но банды выбирали хорошие позиции, прячась за бугры, и все ближе и ближе подползали.

Кончилось тем, что полуротный выскочил из окопа и бросился бежать обратно в село, увлекая за собой растерявшихся красноармейцев.

В селе, за кострами, сидели ничего не подозревавшие наши, многие отправились в разные стороны на поиски пищи. И в это время с горы, где помещался правый фланг, показалась бегущая толпа красноармейцев, а за ними зеленцовцы, — уже не ползущие, о, нет! и даже не бегущие, — откуда-то взялись у них всадники, из погребов и чердаков повылезли припрятанные бандиты, старики с топорами и вилами, а другие просто с дубинами, и все они неслись из разных мест, объединенные страшным звериным криком „ура“ (их „ура“ было страшнее всего), подхваченным женщинами, детьми, которые, стоя у своих хат, заливались во всю глотку этим криком. Под эти страшные крики началась жесточайшая безумная резня. Кто только попался в этот момент, был буквально растерзан, пощады не было никому... Комсомольцы, бывшие в окопах и в селе в это время, конечно, не бежали и пощады ни у кого не просили, и все безжалостно были перебиты...

До самого вечера продолжалась дикая расправа. Из разных мест вытаскивали спрятавшихся красноармейцев, волочили их по улицам, мучили, издевались над ними.

У нас на левом фланге хотя и началась небольшая паника, но мы еще ничего не знали. Раздавшееся со стороны села громовое „ура“

углубило нашу тревогу, и мы поняли, что в Триполье что-то неладное. А из рассказа прибежавшего из села красноармейца о резне в селе мы уже поняли, что пропали.

Начинался вечер; безмолвные и угрюмые, мы вылезли из окопа, приготовили винтовки и цепью пошли... к Днепру. Кругом свистели пули: то тут, то там вспыхивали огоньки от выстрелов, падали раненые и убитые. Мы спустились с крутого берега и пошли к заливу Днепра под Трипольем. Там уже было много наших, стоявших по колено в воде. Мы ничего не соображали, никак не могли понять, что произошло. Один за другим бросались в воду и пускались вплавь красноармейцы; в лодку, где могли поместиться 8 человек, влезало человек 15, со всех сторон цеплялись другие, лодка плыла немного, потом шаталась, начиналось волнение, она кренилась на бок, и все падали в воду.

Уже было темно, когда на берегу показались какие-то люди... Раздался провокационный крик: „Это наши“. Мы подошли ближе, видим бандиты, кругом пулеметы... „Сдавайтесь, а то всех перестреляем“. Кидаем документы в воду. Обратного нельзя, да и свои красноармейцы не пустят. Один за другим выходим из воды на берег. Бандиты всех нас окружили и, безжалостно избивая прикладами и нагайками, повели в село.

Мы шли по разрушенному Триполю. Уже была ночь, и луна освещала догорающие развалины крестьянских хат. Всюду валялись трупы, окровавленные и растерзанные, кругом стонали

раненые и умирающие; впереди, сзади и по бокам нас, пленников, ходили звери в человеческих образах, жаждущие крови и еще не насытившиеся ею. Брань, толчки, удары, пинки, стоны, выстрелы, прекрасная летняя ночь,—все смешалось в одно... Смерть творила свою страшную работу. Нас вели на новые страдания и муки эти серые, опьяненные от крови люди... Было жутко. Мы шли...

В центре села на площади помещается базар, там имеется несколько больших каменных лавок и складов. Нас туда привели и вбили, как сельдей в бочку. Началась первая ночь в „гостях“ у зеленцов. Поминутно открывалась дверь, и к нам группами все вталкивали окровавленных пленников. Прошло немного времени, как в помещении уже нельзя было не только лежать или сидеть, но даже негде было стоять. Проклятия здоровых, стоны раненых, крики умирающих,—так было всю ночь.

Под утро в селе началась какая-то тревога: зазвонили в набат, шел несмолкаемый гул орудий.

Это со стороны Днепра наступали наши бронепароходы, которые подехали к самому Триполю и немилосердно стреляли по бандитам. Раскрылись окна и двери, и на нас навели дула пулеметов и винтовок. Наверное положение зеленцов ухудшилось, и они думали перед отступлением всех сначала перестрелять. Это продолжалось недолго, но нам оно должно было казаться целой вечностью. Постепенно все стало стихать, прекратился звон набата, и стала удаляться

стрельба: гроза прошла. Наши отступили. Трудную пришлось пережить ночь.

Наутро нас всех вывели на площадь. Поставили в шеренгу, и раздалась роковая команда: „Кацапы, жида, коммунисты, пять шагов вперед“. Мы почти все вышли; те же, которые оставались, были выданы нашими красноармейцами и на месте были зарублены зеленцами.

Всех нас в числе свыше ста, где около половины было комсомольцев, отвели в отдельное помещение. Как потом оказалось, всех оставшихся после „лекций“ самого „батьки“ Зеленого в тот же день отпустили на все четыре стороны, выдав им даже соответствующие удостоверения. Нам же готовилось кое-что похуже.

Мы это знали и духом не падали. Я, чудом вырвавшийся в дальнейшем из когтей смерти, горжусь тем, что могу рассказать, как умирали наши юные коммунары. Всем известна героическая гибель нашего вождя Миши Ратманского: окруженный целой толпой озверевших бандитов, он лишь после того, как выпустил все свои патроны, последним застрелил себя.

Вот лежит тов. Бурштейн (из городского района). Пуля у него прошла чуть выше над сердцем. Он еще жив, но какое спокойствие, улыбка на исхудавшем лице.

Вот М. Полонский. Пуля пробила ему руку у самого локтя, рука неимоверно опухла, вся синяя; он долго крепится и в конец все же заплачет. Не из страха, нет: глядя на его изму-

ченное лицо, чувствуешь, что ему нечеловечески больно.

Вот встает бородатый, видно, мобилизованный. „Товарищи,—говорит он,—давайте молиться богу“. В ответ мы пробовали только смеяться:— „Когда шли сюда, не верили в бога, и теперь в него не верим“.

К нам ввели командира полка и нашего военкома. Вот они обращаются к караульному¹⁾: „Поведите нас к Зеленому, я ему укажу, где зарыты замки от орудий“,—говорит командир.— „Я ему укажу, где спрятано знамя и дам список коммунистов“,—добавляет военком.

Тогда встает тов. Шейнин и говорит:— „Мерзавцы, вы даже не можете показать нам, молодым, пример, мы вам его покажем“.—Предателей увели, среди нас не было ни одного изменника, ни одного труса, никто не жалел, хотя мы все знали, что пощады нам не будет, а только ждали, чтобы этот конец поскорее наступил.

Как прошла ночь, не знаю, потому что я, утомленный, не спавший несколько ночей, заснул крепким сном. Проснувшись наутро, я узнал, что человек 30 за ночь куда-то увели. Уводили группами. Куда...

На утро оставшихся увели в деревушку Халупы, находящуюся в 4-х верстах от Триполья,

¹⁾ По имеющимся сведениям, в Окрвоенком к гг. Богданову и Н. А. Павлову ходила делегация от отряда с указанием на непригодность, по их мнению, командира. Основанием служила никудышная постановка дела в полку. Однако командир почему-то не был снят. (Прим. ред.)

и посадили в просторную избу, где помещалось „волюстное правление“.

Пришел к нам какой-то бандит, видно, эс-эр, и в течение часа читал нам лекцию о вреде коммуны. Мы знали, что нас должны расстрелять, и нам, конечно, было не до его напутственной лекции.

Среди оставшихся были: Шейнин, Л. Полонский, Дымерец и др. комсомольцы.

Под вечер открылась дверь и раздалась команда „выходи“. Выпустили человек восемь и закрыли дверь. Их куда-то увели.

Прошло немного времени. Это повторилось. Тогда мы скорее почувствовали, чем поняли, что их увели навсегда.

Постепенно начали уводить еще. Ожидание становилось мучительным. Хотелось конца. Я стал у самых дверей, и, когда под грозным роковым окриком открыли дверь, я первый вышел. За мной выпустили еще пять товарищей. Нас поставили вдоль стены и стали связывать попарно рука к руке. Рядом со мной стоял Володя Дымерец. Я знал, что нас поведут к Днепру. Вода—это моя стихия: как прекрасный пловец, я был уверен, что она меня спасет. Меня и Дымерца связывал старый крестьянин с рыжей бородой. Не знаю почему, но я, чуть не с плачем, просил его, чтобы он связывал наши руки не крепко, говоря, что она у меня болит.

Нас было три пары, связанных рука к руке. В первой паре шел Лева Полонский, связанный с каким-то мадьяром. Во второй шли неизвестные

мне два красноармейца, а в третьей паре я и В. Дымерец. На каждую пару шел один бандит-зеленовец. Мы шли молча, да и не о чем было говорить.

Темнело. При повороте перед нами открылся Днепр. „Ну, коммунарики, теперь вы поплывете“,—прошипел шедший сзади нас зеленовец. Предчувствие сменилось уверенностью. Я ни о чем не думал. Подошли к берегу. Я и Дымерец были еще в верхней одежде, и бандит приказал нам раздеться. В то время, когда я одной рукой, дрожащей от волнения, снимал брюки, я видел, как другие два зеленовца прикладами бросали в воду остальных наших товарищей. И, когда те барахтались в воде, зеленовцы по ним стреляли.

Раздевшись, мы, не ожидая приказа нашего бандита, бросились бежать в воду, развязывая по дороге телефонную проволоку, связавшую нас рука к руке.

Мы оба умели хорошо плавать. А в воде мы уже очутились не завязанными. Зеленовец, не спеша, подошел к берегу, приложил к плечу винтовку и начал по нас стрелять. У меня появились нечеловеческие силы. Я уже больше нырял, чем плыл. „Фастовский, я ранен“,—крикнул мне плывший рядом со мной Дымерец, у которого из уха текла кровь. Не успел он это проговорить, как другая пуля пробила ему затылок. Я только успел заметить фонтан крови и почувствовал, что мне в лицо ударили куски его окровавленного мозга. Он пошел ко дну. Из всех шести на поверхности плавал только я один.

Все были перестреляны.

Зеленовцы стреляли уже только по мне, но было темно: на прицел они взять не могли, а течение успело меня далеко унести...

Пули свистели кругом меня; в момент, при нырянии, когда голова была под водой, а спина на ней,—шальная пуля отхватила кусок мяса у меня на спине... Я только почувствовал, что меня там что-то обожгло...

Я долго плыл... Передо мною была одна цель: противоположный берег Днепра. Зеленовцы уже перестали стрелять, потеряв меня из виду вследствие темноты, или же считая меня утонувшим. Было трудно плыть, а я еще был в нижнем белье. Силы мне уже начинали изменять, я уже отчаявался доплыть до берега. Наконец, я почувствовал под ногами почву.

Измученный, почти без сил, добрался до берега. Я бы долго лежал на песке, но ночная сырость, увеличивающееся ощущение холода от мокрого белья, а тут еще начавший накрапывать дождь подняли меня. Это была страшная ночь...

Я бежал, размахивая руками, чтобы немного согреться. Взлезал на деревья, чтобы оттуда увидеть свет из какой-нибудь деревни, но всюду было темно... И так вся ночь... Как я ее провел, не помню. Утро вернуло меня к нормальному состоянию. Наткнувшись на какую-то дорожку, я по ней пошел вперед.

Я шел наверно долго, пока не наткнулся на какую-то деревню. Я зашел в первую попавшуюся хату. При виде меня в одном белье, которое

сзади еще было в крови, крестьянка, находившаяся в хате, испугалась. Я попросил что-нибудь поесть. Она дала и попросила меня сейчас же уйти. Из двух вопросов, на которые она неохотно ответила, я узнал, что нахожусь в Полтавской губернии. Она мне рассказала, какой дорогой идти на Борисполь, где находились красные войска, при чем предупредила, что кругом бандиты и идти опасно.

Захватив с собою полбуханки хлеба, я пошел через деревню по указанному мне пути. Верстах в двух от деревни мне навстречу попались две крестьянских телеги с мужиками, которые, увидев меня, остановились. Здоровый мужичище пристально оглядел меня, проговорил: „Ага, коммунист с Триполья втик, сидай з нами, поидимо в штаб. Он был такой здоровый, а я маленький, слабый. Я сел... Лошадь тронулась, и я, недолго думая, соскочил и бросился бежать во все лопатки.

Он остановил лошадь, побежал за мной, но нагнать меня не мог. Я бежал долго и наконец, изнемогая от усталости, сел отдохнуть.

Как из-под земли, откуда-то появились два молодых хлопца. У одного была здоровая палка. После недолгих расспросов они меня повели. „Куда?“—спрашиваю, и в ответ получаю порядочный удар. На повороте дороги стояла телега, и какой-то мужик якобы возился у колеса. Мои провожатые поклонились ему и начали что-то говорить, показывая на меня. Мгновенно простое лицо мужика превратилось в хищное,

бандитское. Он вынул из-под пояса спрятанный браунинг, который, вероятно, стащил у убитого коммуниста, и с наслаждением прицелился в меня. „Эх,—проскрежетал он,—жалко, что у меня всего две пули, а то подстрелил бы я тебя“. Я понял, что браунинг был пустой, и что у него ни одной пули не было. Они еще что-то говорили, и я услышал, что „штаб“ куда-то переехал.

Мужики долго совещались, что сделать со мной и, наконец, приняли какое-то решение. Мужик с повозкой остался на месте, а те двое повели меня дальше. Мы свернули к реке. Там была какая-то рыбацья хижина.

Один зашел туда и через короткий промежуток времени вышел, держа в руках топор и какую-то старую заржавевшую саблю. Понимал ли я, в чем дело или нет, не помню. Но я просто потерял способность понимать и мыслить. Я был в каком-то оцепенении. Я шел впереди, а сзади шли они двое. Один держал топор, другой саблю.

Мы шли по невысокому берегу, а внизу река. Вдруг я почувствовал страшный удар по голове и сейчас же саблей по лицу. Я упал, но инстинктивно почувствовал еще раз поднятый топор, и, собрав последние силы, скатился в воду...

Вода—это лучший бальзам и исцелитель. Она остановила кровь из раны. Речка была неширокая, и я, переплыв на ту сторону, пополз в кусты. Тут кровь начала течь, как из ведра. Когда те двое ушли, считая, что я все равно истеку кровью, я пополз обратно к воде, промыл рану, разорвал

рубаху, которую почти всю всунул в дыру на голове. Отдохнув, я пошел.

Дороги я не знал, но приблизительно направился в сторону Днепра, откуда я легче мог бы прийти в Киев. Так я скитался два дня. Когда я видел деревню, я уже туда не ходил, а шел в обход. Вдали уже виднелся Днепр, и далеко за горизонтом я увидел дым от парохода.

Я бросился бегом к берегу. Пароход приближался. Я увидел на нем красный флаг. Это был бронированный пароход № 6. Я взлез на высокий камень, крича и размахивая руками, чтобы меня заметили.

На пароходе меня увидели. Он подплыл к берегу. С парохода спустили длинную доску. Я по ней, шатаясь, взобрался на палубу и тут, после стольких мучений, страданий, потери крови, силы меня оставили, и я упал на пол без чувств.

В таком состоянии я был больше суток. За это время мне вычистили засорившуюся рану и сделали перевязку.

Через день я очутился в гавани г. Киева. Когда мы приехали, была ночь, и я спал. Проснувшись под утро, когда еще все спали, я вышел на берег. Я имел ужасный вид: в нижнем белье, весь в крови, с забинтованной головой. Домой страшно было идти. Недалеко около гавани, на Спасской ул., № 12, помещался тогда наш Подольский Комсомол. Отсюда мы пошли на Триполье, и туда я пришел...

Было еще рано, никого там не было. Я вошел в парадную дверь, сел и стал смотреть в окно.

Вдруг сердце забилося радостью: шел член Комсомола, „маленький тов. Коваленко“. Я его позвал. Увидев меня, он обомлел: все считали меня погибшим.

„Беги ко мне домой, принеси что-нибудь одеть“, — попросил я его.

Он бегом пустился исполнять мою просьбу.

И. Собин

ВОЛЧОНОК

Рассказ.

Сентябрь насвистывал свою последнюю песенку. Вот-вот подопрет его Октябрь. Щелкнет первым заморозком — и ну копать то, что не по силам Сентябрю — Листопаду, и хватать перво-рожденным холодком отвыкшего неугоди-человека за нос.

Тимошка вяло переходил с улицы на улицу и вяло тискал большими сапогами по жиже. Густо падавшая слякоть на его не то сонном, не то усталом лице, из прижитого им в кузнице толстого слоя угольного налета, разводила черную краску.

Кто-то хихикнул, блеснув золотым зубом.

— Чертеночек...

Тимошка не слышал и не видел. Давя сапогами из-под ног брызги слякоти, шел туда, куда закидывались задравшиеся кверху носки сапог.

— Куда? Не видишь... уснул. — Скользя осторожно по плечу Тимошки, мелькнула перчатка.

Откуда—Тимошка знал, а куда—нет.

Позади остался дом, отец и кузнец Викул.

Тимошка, когда ему кузнец на пробу велел сделать подкову, призывал на помощь всю „образованность“, полученную им в кузнечной учебной мастерской захудалого уездного земства. Подкова не удалась. Вышла, как сковорода с концевками, и не с шилом, а с клыком.

Учился второй месяц.

Не понравилось отцу и взял Тимошку „домой“ обратно.

— Братенник Викул обучит...

Тимошке и не хотелось расставаться с ребятами,—ничего не поделаешь—отец.

Там в земской мастерской вольготнее было, а кузнец Викул „взял в работу“. С первых же дней сделай ему подкову, тогда как Тимошка только мельком от мастера слышал, как „сготовить“ ее, да видел, как дубасил красное тело железа кузнец Викул.

Отец, сдавая сына братеннику Викулу, наказывал не потачить Тимошку, чуть-чего—„блямбу“. Кузнец так и делал. Порой на него находил спокойный стих, тогда он рассказывал Тимошке, как добывают железо и кто его добывает.

„Пу-уф-фу, пу-уф-шши, шшиш...“

Вздыхали меха, разбрасывая из горна веер из красных брызг.

Пыхтел и кузнец.

— Во, как достается. Не велико дело мы с тобой. Достается по всякому...

„Пу-уфшш...“

— В земле водится железо-то. Люди, наш брат, будто кроты роются. Шахты, рудники устроены в земле. Про ад говорят,—вот он ад-то... То же домна-печь это, где, будто масло, топят железо. Во жара! Твой нос туда—зараз обсох бы...

„Пу-уф-шш...“

— То ж завод. Точат, шлифуют, железную пыль глотают. Сколь чахнет, умирает. Там умирают...

Кузнец осматривался кругом и шопотом продолжал.

— А на забастовках... ложится голов... Революции не знаешь—сопляк. Была она и еще будет... Уфф! Потно. Да... Встанут вот так, как есть чумазные, грязные, да как... о-го-го-го... Со всего света...

Тимошка глаза таращил.

— Ты чего... невдомек! Поймешь, будет время.

Носки больших сапог вскидывались то вправо, то влево. Тимошка повиновался.

В нос ударило жареной колбасой. Челюсти Тимошки просили работы, желудок жадно мял в изобилии спускающуюся в него слюну.

Рынок...

Торговка, разбухнув, как почка, сидела, вывернув из-под себя, словно лепестки, ноги, перед миской с пельменями. Тимошка жадно пронизал до дна всю миску, остановившись на жирном вздутом пельмене.

— Э, паренек, какой у тебя глаз-то острый, то и гляди...

— Христа-а ра-а-ди...—тянула босая девчонка.

На столике разрезанный, свежее-печеный хлеб дымился.

Желудок жадно набрасывался на слюну.

— Востер бобер, то и гляди...

Пельменщица проводила Тимошку глазами до угла рынка.

„Юнкар!“

По асфальту в казенной форме, казенным шагом, штамповал взвод казенных людей.

Тимошка долго примерялся итти с ними в ногу, пытался размерным шагом переставлять ноги: вышел на панель.

— Раз-два, ррраз...

Носки больших сапог забирали то вправо, то влево. Тимошка путался.

„Торопятся!“

Последний штык, обогнув дугу, скрылся за угловым домом.

Колочий ветер винтом вихрил под мышками Тимошки и в прореху забирался к „гусиной“ коже.

Вспомнилась кузница и хмурый, но добрый кузнец Викул.

„Там тепло. Викул молотом „охаживает“ по наковальне“...

Зеркальное стекло магазина родило двойника Тимошки. Во весь рост, и задравшиеся кверху носки сапог, и вихор торчмя торчит из-под прожженного картуза. Осклабился, никогда он не

видел себя с ног до головы. В осколок зеркала, если приходилось, он видел в отдельности то нос, то глаза, большие, большие, несуразные, как бычачьи, а тут все сразу и на своем месте.

„Раз-два, раз-два... Мне бы... Чистенькие...“

— Посторонись! Тоже...

Кто-то сильно толкнул. Казенная форма исчезла, он стоял перед двойником: один борт паневы лохмотился о вздернутый носок сапога, а второй полуприкрывал разорванные на колене штаны. На фоне сажи и угля искрились кошачьи глаза.

Ветер со свистом лепил слякоть и в спину Тимошки и в вывеску, уродуя смысл написанного.

— Бу-лоч-на-я,—осклабился и смахнул липким языком сажу с верхней губы.

За стеклом рыжела пухлая булка.

— Ага! Булочная.

„По-опро-о-си“—жамкнул желудок последнюю порцию слюны.

Рука, взявшись за скобу двери, вздрогнула, холодная дрожь пробежала. Бррр... Скользкое, холодное, отполированное, круглое, как тело змеи...

„Точат, шлифуют... железную пыль глотают... чахнут“...

„Попро-о-о-о“,—бессильно жамкнул желудок.

„Христа-а ра-а-а“,—вспомнилась девчонка на рынке.

Ноздри раздулись; пряным дохнуло.

— Не, шалишь... Нна-ка выкуси...

Пустился бежать.

Низко плыли тучи. Бежит он, а навстречу низко-низко плывет большая-большая, темная туча—и как будто норовит в рот. Целыми тучами глотает, слякотью запивает.

„Урр, урр, бррлю“,—раскатывалось в брюхе.

— Не... шалишь, Христа-ради... Не, от Викула ушел, домой не пошел. Теперь... кланяться... Не-е...

Большая, темная, как испорченная печень, туча напоролась на крестообразный кусок железа колокольни.

Над землей хмурилось, хмурилось и на земле.

Пред железными воротами большого дома что-то кричал и махал руками человек в сером. Две-три фуражки взлетели вверх.

— А—а!.. Зачем? Мы што?! Доверие... Покажем! Охранники!.. У-у-уу!..

Росло... Голосело... Шинели... Блузы засаленные... Гудело, у-у-уу!..

Крестообразный кусок железа на колокольне, распоров печень-тучу, скрылся в ней, блеснув желтизной.

— Ка-зенный вин-ный с-клад,—осилил Тимошка грамоту большой красной доски на воротах.

Сквозь решетку ворот видны „чистенькие“, за которыми он пытался шагать в ногу. Щелкая затворами, они перебегали трусливо по двору, укрываясь за ящики и бочки.

„Торопились... во куда!“

Тах!

„Фи-ю“... над ухом Тимошки прококетничала невидимка.

— Та-ак!

Вздохнула калитка, в нее, как в прорванный лист бумаги кулак, ввалились шинели, засаленные блузы, кацавейки...

— О-о-ох... Мы... Тах, так...

Тимошка бежал меж бочками и ящиками.

Щелкая затвором, впереди его метнулась за бочку невзрачная „чистенькая“ фигурка. Пугливо и удивленно косилась пара, как будто, старознакомых глаз.

— Тра-та-та-та.

— Тах.

— Ух-ты... а стеррр, ууууу-уу-у-о-о-о!

Гудело во дворе и на улице.

Жгучее скользнуло по самой макушке...

Тимошка как бы нехотя остановился, ноги дрыгнули из-под себя в стороны. Медленно опустился он рядом с бочкой. Из-за бочки пара расширенных от страха глаз впились в Тимошку.

Как след от красной кисточки, тянулась полоса от макушки к затылку, где вихрастые волосы скатились в липкий комок.

Шмелем прожужжала над ухом невидимка и впилась в дубовую доску бочки.

Крепко-пахучее лилось и застаивалось на упитанной влагой почве.

— Испить бы...

Лужа около бочки разливалась, светлое крепко-пахучее бурело.

— От Викула... ушел, к отцу не... Кланяться не... нна-ка выыы...

Кто-то пригоршнями перекачивал побуревшую крепко-пахучую лужу в ведро.

— Видать, малый упился...

Тимошка стонал.

— И-и-испи-ить бы...

Когда Тимошка лежал в госпитале, первые дни он был без памяти, бредил.

„От Викула ушел... Теперь. Нна-ка вы-ы-ы... Ре-во-люция...

Навещали его два солдата, те самые, которые подобрали его раненым и доставили в лазарет.

Пришел он в сознание—не мог припомнить всего, что с ним случилось, а когда нащупал на голове повязку—ухмыльнулся как бы про себя.

Двух солдат, что доставили его в лазарет, тоже не помнил. Они заходили часто. Долго беседовали. Рассказывали о происшедшем, а однажды обмолвились и о том, что будто на-днях должно что-то опять случиться. Говорили неясно, намеками, но Тимошка угадывал, жадными глазами впивался в рассказчиков и сетовал на свою слабость.

Однажды солдаты не пришли навестить его. Тимошка притих. Он втягивался под колючее одеяло с головой и думал, думал много. Викула вспоминал. „Революции не знаешь, сопляк“... Пытался встать—слабость разводила ноги в стороны, и сиделка строго-на-строго приказывала лежать спокойно.

Все-таки не вытерпел.

Окна лазарета выходили на площадь.

Подошел к окну. То, что он увидел на площади, сначала не разобрал.

Ряды за рядами спешили серые шинели с ершистыми винтовками; перебегали и одиночки вооруженные, и военные, и невоенные—по костюму видно. Около будки устанавливалась пушка.

Вдруг, как будто над ухом Тимошки, лопнул большой бычий пузырь, а за ним второй. Где-то охнула пушка. За ней стрекотнул пулемет.

Тимошка прильнул к стеклу.

Кто-то из больных крепко ругнулся, а второй добавил:

— Постреляют нас здесь... Чего доброго...

Тимошка недоумевающе оглянулся—и опять к окну.

На площади засуетились, особенно у пушки.

Что-то знакомое показалось Тимошке в одной из шинелей. Вплотную прилип он к стеклу и отскочил, крикнув с задором:

— Да это Николай! Ишь ты...

Тимошка не ошибся.

У пушки возился Николай—один из посещавших его солдат.

— А ну-ка... Та-ак...

Тимошка то прилипал к стеклу, то отскакивал от окна.

Больные тревожно забегали по лазарету. Тяжело больные лежали, довольствуясь передачей сведений.

— Малый! Што там?.. — спрашивали они Тимошку.

— Николай... там...

— Какой?

— Что...

— У пушки... говорю...

А когда пушка на площади с грохотом охнула, так что стекла зазвенели, Тимошка отбежал в сторону, к тяжело больным, и увесисто сообщил:

— Это Николай... Солдат бывал у меня... Здорово он...

На улице затарахтели ружейные выстрелы. Там столкнулись две силы — буржуазная и пролетарская.

— Куда ты? Набросились больные на Тимошку.

Он второпях накинул халат и пустился бежать меж коек к выходу.

— Волчонок!

— Характерный! — ворчали они вслед.

Пушка-буржуйка опять стала угощать отрывкой. На площади суетились.

Тимошка подбегал к тому месту, где около пушки кружились заботливо хмурые солдаты.

Снарядом снесло у будки угол карниза. В стороны полетели камни, обломки.

Подбегая, Тимошка видел только, как Николай взмахнул руками, опустился неловко на колени и свалился около самой пушки, не успев ответить. Повалились и другие...

Лазаретные окна били дрожь. Больные прильнув к стеклам, видели, как небольшая фигура в лазаретном халате, с повязкой на голове, таскала блестящие, шлифованные цилиндрические тела и совала в пасть пушки.

— Вот... Залягай его лягушки!

— Смотри! Ай-я-яй!

Окна лазарета звенели.

Уж повязки на голове Тимошки не было видно, только халат мелькал и на ветру раздувался, а пушка-пролетарка посылала отрывки в сторону „чистеньких“.

Лазаретные стекла дзинькали...

И. Жига

ПУЛЬКА

Рассказ.

В игре ее конный не словит,
В беде не сробеет, спасет,
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.

Н. Некрасов.

Маленький уездный горьковский городок „Окуров“, склеенный из нескольких улиц, уткнувшись в сугробы, спал. Все в нем маленькое: и домишки деревянные, похожие на спичечные коробки, и люди в них спички. Словно шутя, кто-то взял этот город в руки, передернул, перекошил, вывихнул и бросил бесформенной кучей к берегу извилистой речушки.

Город. По краям торчат облупившиеся церкви, в середине, по обыкновению, собор. Как полагаются—часы на колокольне, по которым встает и засыпает город, площадь небольшая с застывшими торговыми рядами, по площади крестом проложена дорога, а по краям сугроб. Внешне все в нем сохранилось старое, окуровское, только жизнь теперь стала другая и люди не те.

Вот высокий каменный дом выделяется из всех, это дом бывшего купца Трегубова.

Выше города на два этажа, с вывеской, словно кокарда на лбу: „Уисполком“. Он часовым стоит в зеленом шлеме с пикой на голове, помахивая по ветру флагом. Днем и особенно ночью, не моргнув, глядит он желтыми глазами вдаль, через поля и леса, в раскинутые по уезду деревни—стережет. Время от времени стучит на телеграфе, слушает хрипчатый телефон, отдает приказы, работает и ждет...

В комнате бывшего купца Трегубова, в спальне, а теперь кабинете председателя, заседание. Оно не только заседание... Пять дней тому назад было постановлено: из уисполкома образовать ревком; и вот пять дней как люди, не выходя из дома, работают. Нельзя не работать: фронт.

В зеленом абажуре лампа зеленил людей, глаза блестят, от непрерывного куренья в комнате дым. Председатель, худощавый, с продолговатым лицом, человек, спокойно говорит о том, что небольшой отряд противника прорвался в тыл, направился к деревне „Красные горки“ и, повидимому, намеревается взорвать железнодорожный мост. Если это случится, город будет отрезан, и обещанная помощь не придет. И в комнате быстро, без прений, решают: Спиридонову, как секретарю укома, сейчас же созвать партийных товарищей, взять оружие и отправиться на мост. Стырину, с подчиненной ему милицией, нести непрерывную охрану города. Кроме того, немедленно отправиться на масло-

бойный завод, мобилизовать всех находящихся там рабочих и на всякий случай из них сколотить небольшую дружину: фронт в 20 верстах. Это значит—один переход, и белые могут очутиться в городе.

И маленькая комнатка председателя, как сердце в груди, работала день и ночь непрерывно. По-прежнему звенели телефоны по углам большого дома бывшего купца Трегубова, стучал телеграф, и по-прежнему дом, не моргая, глядел воспаленными глазами через город, через поля и леса в темь.

Но вот под утро на маслобойном заводе протяжно захрипел гудок. Жутко пронеслось его завывание над городом, словно огромной дубиной он ударил по спичечным коробкам, и они проснулись, зашептали, зашумелись, а гудок задыхался и снова хрипел, разрывая в клочья седую морозную ночь. На улицах слышался отрывистый разговор, торопливое скрипенье снега под ногами, маленькие люди быстро шагали на площадь.

Собрались все, и всего только сорок пять человек. Знакомые лица, все друг друга называют по имени. Вместе с тревогой слышатся шутки, спокойный разговор, похоже было на обычное партийное собрание. Пришел и председатель ревкома. Бледный, усталый, обращаясь к пришедшим, сказал:

— Ну что же, братцы, вы все знаете, надо идти. Одно помните—нам отступать некуда, вся надежда—обещали бронепоезд прислать.

Серьезные, сосредоточенные лица, близко сжатые один к одному, освещенные красным электрическим светом, были похожи на жженные кирпичи, но как их мало! Эта горстка людей, командующая целым уездом, идет теперь на последнюю позицию, сдерживать натиск разигравшейся бури.

Первым заговорил Спиридонов:

— Товарищи, берите винтовки!.. Толпыго, тащи пулемет! Чихач, ты будешь командовать отрядом. Хахарев, сейчас же составь список.

— А где Пулька?

— Здесь,—послышался мягкий голос.

— Ты возьми санитарный мешок...

И защелкали затворы винтовок, загремели коробки с патронами. Толпыго, как теленка, притащил пулемет, осматривая все ли в порядке. И маленький отряд коммунистов, вздыбив штыковую щетину, волоча за собой пулемет, двинулся по улицам города в сивую лохматую даль.

Встревоженный криком гудка, слушая шумную поступь отряда, город притих. Он еще глубже зарылся в сугроб и не то радостно, не то тревожно черными глазами глядел вслед уходящему отряду.

А через час, когда начинало светать, сквозь прозрачную морозную дымку, пред отрядом показался маленький белый вокзал. В ста саженях от него чернел железнодорожный мост, внизу—застывшая река и белый пушистый серебряный лес.

Отряд оживился. Вместе с ночью уходила и ночная напряженность. Там, в городе, тревожный гудок, напоминающие об опасности речи, а здесь — сверкающее золотом утро, крепкий морозный воздух, тишина. Как будто они сюда пришли не сражаться и, быть может, погибнуть, а просто, как каждую неделю хаживали на субботник поработать колуном или пилой, поговорить о пустяках, отдохнуть от удушливой управленческой работы. И отряд действительно отдыхал. Одни весело принялись за установку пулемета, другие пошли за сучьями в лес. Чихач отправился расставлять часовых, а Спиридонов подошел к Пульке.

— Ну, как дела, Поля? — сказал он.

— Ничего, — ответила Пулька.

— Интересно, не правда ли?

— Да, я вот сейчас сама об этом думала. Как-то больше похоже на забаву, чем на серьезное дело.

— Серьезные дела всегда забавой кажутся. Это сейчас вот, подожди-ка, как белые подойдут, пожалуй, и душа в пятки выскочит.

— Плохо ты знаешь меня, товарищ Спиридонов.

— Чего плохо, ведь ты в первый раз на такое дело выходишь, а первачкам, брат, о, о, как привыкать трудно.

— Ну, да, это тем, которые поневоле идут, а когда знаешь, что у тебя другого выхода нет, по-моему и страха никакого не будет, а к тому ж

и неизвестно, придется ли еще иметь-то серьезное дело. Может быть, так и пройдет.

— А тебе непременно серьезного хочется?

— А что ж, испугаюсь, думаешь?

— А то нет?

— Конечно, нет.

— А хочешь, я тебе дам такое дело?

— Давай.

— В разведку пойдешь?

— С удовольствием.

— Я — серьезно.

— Серьезно.

— А ты не забоишься?

— Чего?

— А если поймают?

— Надо так делать, чтоб не поймали.

— Чорт возми, мысль хорошая! Ты знаешь что? Я сейчас достану тебе лапти, полушубок и мужские штаны, поняла?

— Вот хорошо, давай.

— Я это сейчас скомбинирую, а ты в вокзал ступай — приготовься там.

Пульке на первый раз жутко стало. „В разведку, — думала она, — ведь самая ответственная работа, но это значит — я и здесь гожусь? Значит, я могу быть равная с ними“, — и какое-то новое чувство захватило ее. Пыталась объяснить — не могла. Смутно сознавала только одно: она, маленькая скромная девушка, теперь такая же большая, как вот и эти люди с винтовками, пришедшие сюда.

Подходя к вокзалу, Чихач окликнул ее:

— Эй ты, „боец“, что задумалась?

— Красиво, — промолвила Пулька.

— Я, брат, сам вот сейчас расставляю часовых, а сам на небо поглядываю. Ведь какая красота создается, подумаешь? Тут вот так бы, кажется, и содрал картину с самой голой натуры и лучше б этой картины не было. Ты посмотри только, широта какая, простор. Солнце, посмотри, лезет какое румяное, словно смеется, каналья. Не могу, понимаешь ли, выразить, как это приятно после нашего города. Да ты что, брат, и не слушаешь?

— Мне, Чихач, тоже весело.

— А чтой-то ты выглядишь, словно из тебя душа на небо вылетела? Боишься, должно быть? Не робей, до самой смерти ни черта не будет! Я вот, понимаешь, недавно тут посмотрел на небо и спросил себя: а зачем мы пришли сюда? И так это мне чудно стало, не вяжется как-то, понимаешь ли... Сейчас вот мы с тобой разговариваем, природой любимся, а вдруг — стрельба, бой, смерть, и вместо живых людей мы с тобой будем мерзлыми кочерыжками валяться по снегу. Противно это и необходимо, жить хочется, значит — помирать готовься. Ничего ни попишешь, таково положение... Да что ты такая задумчивая?..

— А со мной, может, и сегодня это случится, — перебила Пулька и пристально посмотрела на Чихача.

— То-есть? — спросил он.

— Я сейчас в разведку отправляюсь.

— Да ну-у! Смотри, дружок, не по себе ты пошу берешь.

Пулька снова посмотрела, улыбнулась:

— Какой ты милый, Чихач, как я вас люблю, — и порывисто-крепко обняла его. — Вот так бы я всех вас...

И быстро отскочив в сторону, скрылась в вокзале.

II

Прошлого Пульки никто не знал. В отряде, где она сейчас находилась, все знали ее по заводу. Знали с 1915 года. Когда, после одной забастовки, большую партию рабочих отправили на фронт, а на их место стали набирать женщин, в это время поступила Пулька. Но, как помнят рабочие, и в заводе чаще всего можно было видеть Пульку среди мужчин. В особенности, когда начинался какой-нибудь серьезный разговор о войне: для чего она, да кому нужна, — Пулька молчком внимательно слушала, и если кто-нибудь в это время у нее спрашивал: „Ну, а ты что поняла?“ — „Все поняла,“ — отвечала Пулька.

А когда началась революция, начались митинги, манифестации, непрерывные собрания, споры большевиков с меньшевиками и эс-эрами, — везде можно было встретить Пульку. Сама она никогда не выступала, сидит где-нибудь в углушке, слушает тех и других, и только иногда, во время какой-нибудь речи, она вспыхивала, загоралась, казалось, вот-вот сейчас

попросит слова, а потом сжимала себя, и только по глазам можно было заметить, как горячо она воспринимает каждое слово.

Товарки по фабрике давно махнули рукой. „С ней каши не сваришь,—говорили они,—гордячка, а чем гордиться-то? Подумаешь! Была бы красавица, а то—тьфу, телушка белобрысая, прости господи!“

Видели, как однажды Пулька, после митинга в заводе, подошла к Спиридонову, тогда еще рабочему заводу, и о чем-то долго с ним разговаривала. После этого замечали работницы, что и Спиридонов стал к Пульке внимательней.

А потом в городе прекратились споры. Меньшевики и эс-эров не стало, бой языков превратился в пушечные разговоры, вместо манифестаций—мобилизации.

Начинался голод. Многие рабочие раз'ехались по деревням. Молодежь отправилась на фронт. Коммунисты ушли на советскую работу, опустел завод. Остались только старики, которым некуда было деваться. В это время Пулька появилась в укоме.

Вдумчивая, скромная, сидит она за делопроизводительским столом, регистрирует прибывающих товарищей, отмечает убоивших, записывает членские взносы, циркуляры рассылает Укома, на партийных собраниях секретарствует. Что ж из того, что пишет коряво,—лишь бы дело двигалось, ведь так нужны работники.

А как работник—Пулька незаменимая. Всякие постановления проведены в точности, бумаги

в порядке. А если много работы, она ночи не спит, а делает.

— „Желудок укома“,—шутили над ней товарищи.

Однажды кто-то шутиа назвал ее Пулькой, с тех пор и привилось это прозвище. Очень оно подходило к ней. Маленькая, сероглазая, круглое добродушное лицо, застенчивая, когда шутили над ней товарищи,—Пулька со скромной улыбочкой отвечала шутками.

Она привыкла к ним, сжилась с этими простыми рабочими людьми и всегда думала о том, как бы кому помочь, нет ли где-либо дела, которое она могла бы выполнить.

Предлагали Пульке занять и ответственный пост. Одно время в уезде не было совершенно работников. Хотели ей поручить заведывать собесом, а она сконфузилась, покраснела:

— Ну, какой из меня заведывающий?—говорила она.—Меня бояться не будут, а приказывать мне стыдно. Нет уж, подождите, дайте научиться, как управлять надо, подросту, а то еще духу не набрала.

И вот теперь, когда Пулька очутилась на вокзале, когда столкнулась непосредственно с борьбой, когда ясно увидела опасность, у Пульки странно открылись глаза. Она увидела то, чего раньше не замечала. Она поняла теперь, как мало заниматься в канцелярии, когда есть другая работа.

Вот разведка. Разве Пулька не выполнит ее? Выполнит, только не нужно бояться, не нужно

робеть, не нужно говорить, что я этого не умею делать.

— Смелей,—говорила себе Пулька, переодеваясь.

А через час, когда солнышко взобралось на верхушки деревьев, когда лес и поля, скинув утреннюю позолоту, заблестели серебром, из маленького белого вокзала вышел крестьянский мальчик, в синих самотканых штанах, обутый в лапти, и с сумочкой на спине.

Это была Пулька.

Маленькая женщина, похожая на нищего мальчика, бодро шагала по снежной дороге, становясь все меньше и меньше, превращаясь в крохотную черную точку, похожую действительно на пульку, пущенную из ружья, стреляющего отвагой.

Теперь Пулька знала, что она делает большое, серьезное дело, и она чувствовала, что само это дело возвышает ее, расширяет кругозор, появляется уверенность, смелость.

Для нее выполнить разведку значит—сразу поставить себя на ряду со всеми товарищами, а это уже много значило для Пульки.

„Во-первых, я докажу, что умею работать,—думала она,—а во-вторых, мне не стыдно будет, что я некрасивая, что я одна среди них и такая маленькая, незаметная“.

„Эх, чорт возьми! В лепешку разобьюсь, а сделаю“.

Так думала она, шагая по снежной дороге. Пройдя версты две, Пулька сзади себя услышала далекое мужское:

— Но, но!..

Оглянулась. Сивая лошадка, бороздя копытами снег, рысцой догоняла Пульку. В санях сидел бородатый крестьянин. Рыжая солома, словно усы, торчала из саней, оставляя по снегу тонкие дорожки.

— Дядень, подвези!—весело крикнула Пулька.

— Садись,—равнодушно ответил крестьянин.

Пулька прыгнула в сани, повернулась к мужику спиной, подобрала по-мужицки ноги, посмотрела по сторонам. Далеко расстилались бесконечные серебристые поля.

Тишина. Солнце ласково глядело на землю, жесткий ветерок, словно корявыми руками, гладил по щекам, раздумывая. И Пулька чувствовала себя такой сильной, такой радостной, какой она себя никогда не знала.

Версты за две впереди показалась деревня, а дальше, через большую лощину, выступала другая, чуть заметная.

Хорошо зимой в санях на лошади. А какая красивая местность, словно море когда-то бушевало здесь, вздыбилось, да так и застыло, оставив низины и горы.

„А может быть, здесь белогвардейцы?“—вспомнила Пулька.

— Дяденька, какая это деревня, вон та, на горке?—обратилась она к крестьянину.

— Так и называется—„Горки“.

— Красные?

— Ну, да.

— А сколько верст до них от вокзала?

— Верст пять будет.

— Вот как!

— А што?

Пулька помолчала, а потом, глядя исподлобья, осторожно спросила:

— Говорят, тут разбойники ходят?

— Какие?

— Да вот, красные—белые.

— У—у, так это же не разбойники.

— А кто?

— Большевики, а еще белая армия.

— А кто они такие, дядинь?

— Большевики-то? А кто их знает, говорят— заводские.

— А белые?

— Ну, а про этих я и не знаю.

— А ты их не видал?

— Кого?

— Большевиков-то? — осторожно свернула Пулька.

— Как не видать, на фронт шли—ночевали у нас.

— И ничего?

— Да как сказать, оно, конечно, лучше, если бы их не было, а то все беспокойство одно.

— А зачем они воюют, дядинь?

— Говорят, будто белым не понравилось, что царя спихнули.

— А это нехорошо?

— Какой нехорошо, царя-то давно бы надо спихнуть.

— Так, значит, красные хорошие?

— Как сказать, по нашему один чорт, что красные, что белые, нам ни тех, ни других не надо. Проживем и так. Землица теперь есть, война с германцами кончена, а нам больше и желать нечего.

— Вот видишь тот лес за деревней?—продолжал мужик.—Раньше там барин жил, а теперь имение выжжено, самого прогнали, а землю меж собой поделили. Хорошо было летом,—мечтательно добавил он,—выйдешь это в поле—душа радуется, земли море черное, п па-ши-и!

— Эй, ты, сива-ай!—крикнул он, чмокая со свистом губами,—п-шел!..

— А ты больно любопытный, парень,—сказал мужик, когда сани, скрипя по снегу, быстрее покатались к деревне,—не здешний, видно?

— Я в городе жил,—ответила Пулька.

— Видно. С какой деревни-то?

— С Машутина.

— Чей же?

— Устинов.

Мужик посмотрел на нее и ничего не ответил.

Пулька насторожилась, умолкла. Молчал и крестьянин. Завидев деревню, лошадь, фыркая, торопливо семенила ногами.

„А ведь он и не подозревает, что везет меня, может быть, на смерть, за эту самую землю“,—подумала Пулька, и что-то тоскливое ползло в душу.

Пулька оборвала это, подумала:

„Эх, ну, да ладно, мы свое сделаем, а там... сама жизнь раз'яснит!“

И громко сказала:

— А что, дядинь, если землю отымут у вас, что вы тогда делать будете?

Он посмотрел на нее, усмехнулся:

— Гуг-г, землю?.. А вот этого не кушали?...

Он инстинктивно поднял кулак и добавил:

— Нет, брат, что мужику в лапы попало— не скоро выдерешь...

— Д-а-а, — делая наивный ребяческий тон, возразила Пулька, — у них-то вон ружья.

— Г-у-у, ружья, пусть-ка тронут—и у нас ружья появятся.

— А у вас есть?

Мужик внимательно посмотрел на Пульку и как-то нехотя ответил: „Найдется“, а потом добавил:

— Если белые будут отымать—красные дадут.

— А если красные?

— ??

Мужик насторожился, пересел на другую сторону саней и вместо ответа сказал:

— Ты вот что, парень, слазь-ка, пробежишь и так, а то... вали-ка, вали...

Пулька улыбулась:

— Прощай, спасибо!—крикнула она и, выпрыгнув из саней, весело затопала ногами.

„А все-таки я в разведчики гожусь! Вот видишь—все узнала. Оказывается, страшно дело, когда его не делаешь, а возьмешься—и пойдет.“

„Хей, здорово! А как я ему ловко про Ма- шутино да про Устина. Когда нужно—и врать научишься. Это хорошо, теперь торопиться надо!“

И, потрянув головой, Пулька зашагала к деревне.

Впереди, совсем близко, раскинулась она, видны были стены под белыми снеговыми шапками, кое-где из труб курился дымок, а кругом обычная деревенская тишина. Людей на улице не было, видела—как тот самый мужик уже выпрягал лошадь, возился около двора, перевертывал вверх полозьями сани.

Пулька зашла в один дом, в другой (прося милостыню) и, убедившись, что здесь никого нет, направилась в другую сторону—через реку, лощину, в гору,—где отчетливо выступали „Красные горки“.

Вот там они должно быть и будут. Спиридонов говорил, что они сюда пошли. Ну, и что же, времени прошло немного, только ночью стало известно, а утром мы уже были на мосту. Сейчас полдень, дальше пройти они не могли. И шире расставляя лапти, Пулька спустилась в лощину.

„Чудно! Как сон какой-то,—подумала она,— ночью в городе, утром на мосту, а теперь далеко-далеко, как будто города и не было. Так, представляешь себе улицы, домики с зелеными крышами, партийный комитет, собор, старушки вокруг него в праздничный день. Или дом купца Трегубова, высокий, красный, стоит он посреди не города, вокруг него сейчас, наверное, движение.

Там люди с револьверами, винтовками, топорливые, напряженные, не такие, как в соборе, масляные, прилизанные, со свечками в руках. Смешно!

Но это город, а вокзал, мост? Здесь мои товарищи готовятся к бою, некоторые из них стоят на мосту и, наверное, мерзнут. Бедные, как им все-таки достается! Они ждут своих разведчиков с донесениями. Обыкновенно спокойный, Спиридонов сидит, наверное, в вокзале и обсуждает всякие возможности. Чихач ходит проверять посты. Он всегда веселый, хороший такой, природу любит.

Толпыго где-нибудь поставил пулемет и гордится, что главная сила—он.

Хахарев, этот заводский конторщик, всегда вежливый, аккуратный, склонив на плечо голову, пишет какой-нибудь список или донесение в город—это все там, а тут вон одна деревня, а вот другая, обе серые, притихшие, с обвешанными соломой стенами, с крохотными, помутившимися от мороза глазками. Такие они хилые, слабые, только в них что-то выглядывает хитрое: „нам, мол, все равно—один чорт“.

А попробуй-ка, тронь их, какой они покажут кулак, скажут: „вы этого не кушали?..“

Уф! Кажется, замечталась, — вздохнула Пулька, подымаясь на гору, — какие хорошие мысли приходят, я так никогда не думала. Значит, я умнее, я расту, сама жизнь меня учит, значит, скоро я буду настоящим человеком. Эта разведка становится для меня экзаменом.

Выдержу—буду жить и работать.

Не выдержу?

А что ж тогда будет со мной?

Смерть?..

Ну, этого бояться не нужно. Кто узнает, что я женщина? В этих лаптях, в полушубке?...

А вот и деревня.

Пулька остановилась, посмотрела вокруг. С горы она видела раскинувшиеся поля, тот барский лес, на который ей указывал мужик, дорожку, по которой она только что ехала, дальше бесконечные маленькие снежные холмики, словно белые волны на море.

Пулька повернула на улицу, и легкая дрожь пробежала по телу. В ста шагах она увидела солдата.

„Белые?

Вот они!

Здесь...

Пришли сюда?

Так близко?

Вечером они могут пойти к мосту.

Назад мне повернуть нельзя—узнают.

Смелей, смелей, смелей!..

Ах, какая я...

Ну, конечно, смелей...

Узнаю, сколько их...

Трус...

А еще говорила?..“

Набравши воздуха, Пулька решительно прошла мимо солдат. Завернула на крыльцо крестьянского домика. Вошла. В избе было душно.

пахло табаком, телятами, человеческим потом. За столом сидело несколько человек солдат, тут же на лавке грудой свалены шинели и винтовки. Обедали.

— Пода-айте милостинку христа-ради! — жалобно протянула Пулька.

— Откуда, мальчик? — строго спросил солдат.

— С Машутина, — жалобным тоном ответила Пулька.

— Красных там нет?

— ???

Пулька сделала недоуменное лицо.

— Красных, говорю, большевиков там нет?

— Красные есть, а большевиков не видал.

— Какие же они?

— Красные-то? Да такие: волоса, рубаха красные... мужики наши.

— Дурак!..

— Хо-хо-хо!.. — засмеялись солдаты.

В это время старушка вышла из чулана и молча подала хлеба.

— Спаси, Христос! — протянула Пулька.

На улице подумала: „А как хорошо пригодилось мне Машутино. Слышала — где-то есть такая деревня и вот... находчивость, выдумка прежде всего, без них пропадет разведчик“.

Пулька подходила к другой избе. Здесь она никого не встретила. Несколько солдат, растянувшись на лавках, спали, хозяев избы не было. Вошла, постояла у порога, посмотрела на них, пересчитала и вышла на улицу.

Тихо, пусто, только видела одного часового, расхаживающего с винтовкой на краю деревни.

„Вот бы нашим явиться, всех в плен забрать бы можно. Разве вернуться поскорей? А ночью нагрянуть? Они, наверное, здесь ночевать останутся...“

А если меня Спиридонов спросит, сколько их? Что я ему скажу? А ведь это самое главное, будем знать силы...

Нет, обойду всю деревню, это недолго, зато в точности будет сделано.

„Докажу, что я умею работать“.

Одну за другой обходила хаты, спрашивали: кто она, откуда? Пулька отвечала быстро, уверенно, будто действительно она была из деревни Машутино.

„Как все просто! А я боялась, — переходя из дома в дом, подбадривала себя Пулька. — Теперь буду рассказывать своим товарищам, как надо в разведку ходить, а они-то преувеличивали, считая разведку опасной работой. Вот сейчас зайти в крайний дом и со всех сил к своим, а ночью мы их и накроем“.

На краю деревни стоял красивый большой дом, тесовая крыша, широкое крыльцо, амбары вокруг. Подходя к нему, Пулька услышала какие-то крики, хохот.

Что это?

Вся деревня мертва, а тут будто свадьба?

Стоит ли заходить?

А почему?.. Узнаю, что тут творится“.

На крыльцо, навстречу Пульке, вышел офицер, бритый, без шапки, на морозном воздухе

от него, как от загнанной лошади, клубился пар, фыркал, плевался.

Вошла.

Дом с перерубами разбивался на три комнаты, в задних слышался хохот, звон шпор, дриньканье посуды, а здесь, в передней, сбившись, как овцы, в угол, сидели крестьянские девушки.

Что это?

Из второй комнаты распахнулась дверь, вышел толстый, обрюзгший старик, а за ним два офицера.

— Машутка! Пашка!—крикнул старик и, повернувшись к офицерам, добавил:

— Вот вам самые молоденькие — хрящичек, хе-хе-хе!..

И вдруг разинул рот...

— Тебе что тут надо?

— Милостыньку, христа-ради.

— Я тебе... вон отсюда!

Старик замахнулся и крепко ударил в затылок Пульку.

Пробкой вылетела за дверь и прямо столкнулась с офицером.

— Стой, в чем дело?

— Дядинь, пусти,—пролепетала Пулька.

— Постой, куда? Идем обратно!

— Вы за что его?—спросил офицер.

— А чего он тут шляется, дьявол поганый?— злобно выругался старик.

— Ты откуда?—спросил он.

— С Машутина.

— Мещерского?

— Да.

— Чей будешь?

— Устинов.

— Какого Устина?

— Егорова.

— Что ты врешь, сволочь этакий? В Машутине никаких Устинов нет. Говори—откуда?

Пулька молчала.

— Это верно?—спросил офицер.

— Помилуйте, ваше благородие, да я всех мужиков по округе знаю. Торговля была, все ко мне ездили, как не знать. Вы допросите-ка его, не подослан ли?

— Так...—сухо бросил офицер,—находка.

— Ну-с, молодой человек, расскажи, откуда ты пришел?

Пулька не могла говорить. Так все неожиданно случилось. Видела она, что старик действительно знает Машутино, а другой деревни припомнить не могла. Посмотрела кругом, как бы ища помощи, и ничего не видела, кроме запуганных девушек, разъяренного старика. Веселые крики в соседней комнате, а она, Пулька, беспомощная, одинокая.

— Ну, что ж молчишь, рассказывай!—повторил офицер.

Пулька молчала.

— Клочковский!—нарочито громко крикнул офицер.

Появился тонкий, высокий офицер, узкое лицо, длинный нос, лоб покатыстый и морда собачья, длинная.

— Общайте его...

— Разденьс-с!..—протянул Клочковский.

Пулька не шевелилась.

Клочковский молча взял за воротник, рванул за край полушубка. Пуговицы отлетели в сторону. Машинально он провел руками по плечам, потом на грудь и... остановился, потерял.

— Ха-ха-ха-ха! — среди абсолютной тишины раздался его гомерический хохот.

„Все пропало,—мгновениями думала Пулька.— Товарищи, но ведь они не знают. Они ждут меня там, ждут со сведениями... а я? Зачем пришла я в этот дом? Понадеялась, хотела доказать свою храбрость. И вот... обманула, и себя и товарищей обманула...”

А вдруг они сейчас направятся к мосту?

Что, если наши заснут? Они погибнут тогда, погибнет мост, город, фронт, все погибнет, и я этому буду виновата.

Что я наделала?

Зачем я пошла!

Чихач правду говорил... Но ведь я хотела работать, хотела в точности выполнить...

Ошиблась.

Только вы не засните, товарищи!..

Не попадитесь!

Не отдавайте города.

Их легко разбить можно. Вот только бы мне вам рассказать об этом.

Простите, товарищи....

Ах, ну, зачем так... совершается?..“

III

Глухо было в деревне. По улице ходили солдаты, за околицами стояли посты. Крестьянские избышки испуганно глядели друг на друга, словно их стукнули по шапке и они притрюжились, испугались, не зная, что теперь дальше делать. Только там, на краю деревни, красивый богатый дом бывшего торговца дрожал от веселья: там забавлялись Пулькой.

— Господа! — во все горло орал Клочковский, — мы сейчас устроим великолепное зрелище. Помогите-ка мне...

Пулька кричала, била по рукам, трепетала, как птичка в капкане, — но где же ей вырваться?.. Двое офицеров, шутя и смеясь, взяли ее за руки, так же смеясь, положили на пол, придержали. Клочковский командовал. А потом, наступив ей на ноги, также со смехом стали растегивать пуговицы.

Девушки с криком бросились из хаты, офицеры, предоставив Пульку Клочковскому, побежали за ними.

— А-а-а,—кричали они,—козы дикие, испугались? Держи их, держи!

На улице раздавались испуганные женские крики, заглушаемые отрывистым хохотом.

Пулька вскочила, хотела прикрыться, но Клочковский схватил ее:

— Подождите, сударыня, успеете.

— Виктор Алексеевич!—сказал он, обращаясь к офицеру, задержавшему Пульку,—вы не находите, что у этой дряни превосходные формы тела? Смотрите, как куропатка осенняя,—полная. Видите бедра, талия, груди, все равномерно и кругло, зам-м-мечательно, чорт возьми!

— Как вам не стыдно!—крикнула, со всей силы рванувшись, Пулька.

— Ха-ха, а тебе не стыдно одевать мужские штаны? Ты зачем переоделась, говори?

Пулька снова рвалась и кричала, пробовала кусаться.

— Не горячись, не горячись, сударыня!—говорил Клочковский,—успокойтесь, все равно ничего не сделаете, ведь это так интересно. Ну, согласитесь сами, под этими хламидами и вдруг—открыть такую Мадонну? Это оч-чень занятно, не правда ли?

— Старик, ты не находишь, что это оригинальнейший сюрприз?

— Хе-хе-хе, да-а, это и меня раздражает,—г-гы, Устина Егорова сын.

— Бросьте ее, Клочковский,—сказал Виктор Алексеевич,—пусть оденется!

В это время дверь с шумом распахнулась, и несколько офицеров под руки втащили девушек.

— Насилу поймали, быстрые, как черти, что овцы в разные стороны. Одну так и не догнали, убегла.

— Ах, вы, наши козочки. Ну, что вам стоит дать нам минутку забвения? Ведь это только сегодня. Завтра мы отсюда уйдем, и вы попреж-

нему будете любезничать со своими парнями. Вы гордиться должны, что гуляли с офицерами...

Пулька оделась. Посмотрела на девушек. И что-то горячее закипело в груди, сильное, толкающее к действию. Если бы ей дали нож!

— Товарищи!

— Т-щ-щ-щ,—зашипел Клочковский.—Что ты сейчас сказала? Какие тебе товарищи? Э-э-э, вот оно что! Оказывается, она неспроста переоделась,—понимаю.

— Господа, освободите комнату, старик, ты тоже! Виктор Алексеевич, останетесь.

— Ну-с, сударыня, теперь рассказывай, где твои товарищи?

— Молчишь?

— Смотри... у нас заговоришь сама.

— Ты откуда пришла?

— Н-не знаю.

— Ты будешь говорить?

— Нет!..

Он хотел ее схватить за руки.

— Не смей!—взвизгнула Пулька и, размахнувшись со всей силы, резнула Клочковского по лицу. В тот же миг и сама упала, как сноп, сбита ответным ударом.

Вскочила, хотела броситься снова, но что-то теплое залило лицо—кровь. Притихла, опустились руки...

— Говори, где твои товарищи!—кричал расвирепевший Клочковский.

Пулька молчала.

— Пойдите, Ключковский! — вмешался все время наблюдавший Виктор Алексеевич, — здесь нельзя, неудобно, отведите куда-нибудь.

— Вы попробуйте лаской! — шепнул он ему на ухо.

Ключковский остановился, с минуту промолчал, а потом сказал:

— Одевайся!

Пулька подняла полущубок, натянула на плечи:

— На расстрел?

— Это тебя не касается — марш!

Одевшись, она равнодушно пошла за Ключковским и только на улице, когда на нее пахнуло крепким морозным воздухом, Пулька встрепенулась: „Бежать? Но как бежать? На улице видны солдатские шинели, сзади этот человек, он, конечно, ее догонит“.

А как хочется убежать. Вот сейчас бросилась бы в сторону, поднялась бы на крыльях, полетела бы к своим на вокзал, рассказала бы им...

— Нале-эво! — скомандовал Ключковский.

Последний раз Пулька посмотрела кругом. Тучи заволокли небо. Солнца не было видно, снежные поля стали серыми, наступали сумерки.

„Они ждут меня, — подумала Пулька, — а я?..“

Подходили к бане. Это что же, снова пытки? Они хотят узнать о моих товарищах? Нет уж, только этого им не добиться.

Ключковский открыл дверь, втолкнул туда Пульку и запер ее за собой.

В узкое, маленькое оконце тусклый пробивался свет. Пахло сыростью, гнилью. В полу-

мраке она быстро ощупала стену, забилась в угол, приготовилась, как кошка, готовая броситься в глаза.

— Ну, вот, сударыня, здесь мы с тобой будем разговаривать по-хорошему. Если расскажешь все — освободим.

Пулька молчала. Лихорадочно мелькали мысли. „Драться? Попробовать бежать? Размозжить себе голову, чтоб не мучиться больше? А что, если поиграть? Хорошо бы его задушить? Не справлюсь.“

Что делать? А если все это будет напрасно? Если никакие уловки меня не спасут?“

— Что вы от меня хотите? — проговорила она. — Зачем вы меня мучаете, все равно я вам ничего не скажу.

— Ну, хотя бы имя?

— Мое имя? Пулька — мое имя.

— Это что, прозвище?

— Как хотите, понимайте.

— Я надеюсь, ты мне серьезно будешь отвечать.

— Я говорю серьезно.

— Хорошо, тогда, может быть, ты скажешь, кто ты такая?

— С удовольствием. Я родилась в деревне. Мне было три года, когда умер отец. У мамы нас было четверо. С семи лет я пошла в няньки зарабатывать хлеб...

— Пойди, мне этого не нужно!.. Ты расскажи, кем ты была до прихода к нам, и зачем пришла в эту деревню?

— Я была нищенкой, ходила по деревням.

— А зачем переоделась?

— Мальчику больше подают и меньше обращают внимания.

— А каких ты вспомнила товарищей?

— Тех, с которыми я ходила по деревням.

— Зачем?

— Куски собирали.

— Г-м... Много их?

— Трое.

— Хорошо, мы это запомним. Теперь расскажи, где остались твои товарищи?

— По дороге мы поссорились, и я от них ушла. Где они теперь—не знаю.

— А тебе сколько лет?

— Пятнадцать.

— Врешь!.. Крестьянские девушки в таких летах так говорить не умеют.

— А я жила у господ и научилась.

— У каких?

— У Лебедевых.

— А почему у тебя груди полные?

— ???

— Ты мужчин имела?

— А какое вам дело до этого?

— Ловкая ты баба—а? Признайся, может быть, ты интеллигентка. Тебе лучше будет.

— Нет, я крестьянка.

— Ну, зачем скрывать? Скажи, что ты—большевичка, что тебя послали шпионить. Ты, может быть, и не хочешь, а тебя заставили.

— Это неправда.

Клочковский неожиданно схватил за ухо Пульку и крепко повернул.

— Пр-р-а-авда, сволочь этакая, признаться не хочешь?

— А-й!—вскрикнула Пулька.

— Ну, что ж, продолжай врать,—спокойно говорил Клочковский.

— Если я вру—не спрашивай.

— Ишь, ты какая! Ну, хорошо, давай говорить по-любезному. У тебя сколько товарищей было?

— Тысяча!..

— Х-хе, это, должно быть, правда, большевики, действительно, сброд разных хулиганов с проститутками.

Пулька вспыхнула:

— Гад!—злбно бросила она.

— Ну, вот что, довольно мне валандаться с тобой. Говори, сколько у вас солдат на позиции?

— Миллион!..

— Ты что же это, сударыня, дурака валять будешь?

— А ты?

— Замолчать!

— Сам замолчи!

— Что-о?..

— Не подходи!—крикнула Пулька.

— Вот как? А этого не хочешь?

Он быстро ринулся на Пульку, но в ту же минуту с криком отскочил в сторону.

— Ах, ты, сволочь!..—крепко выругался Клочковский, хватаясь за лицо. Десять красных дорог избороздили щеки.

— Ты так?..

Как борзый кобель на лисицу, Клочковский бросился на Пульку. Она взвизгнула, барахталась, пытаясь кричать, а потом стало тихо, только слышался придушенный стон

Через час Клочковский говорил:

— Виктор Алексеевич, разрешите мне ее прикончить. Дрянь такая, ничего говорить не хочет.

— А вы хорошо ее допрашивали?

— Все испробовал, не поддается.

— Где она сейчас?

— В бане.

— В таком случае пусть до утра пробудет.

— А?..

— Успеем, после все сделаем.

— Миндальничать вздумал?—бормотал Клочковский, выходя из дома.—Впрочем, я с ней поступлю по-своему.

На улице ему встретились солдаты.

— Овчинников, Хапалов!.. — крикнул он, — идемте за мной...

Зимние лохматые сумерки спускались на землю. Кое-где загорелись огоньки. Деревня, утонувшая в снежной перине, покрытая белым холодным одеялом, робко мигала слезливыми глазенками.

Только там, в доме деревенского торговца, ярко горели огни. Слышались песни, веселые крики, звон—там продолжалось веселье.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
От издательства	3
И. Константинов.—Ольгунья	5
Артем Веселый.—Дикое сердце	18
Григорий Никифоров.—Юный машинист	50
Ив. Скоринко.—В семнадцатом	59
И. Кулик.—Дневник красного партизана	77
Ярошевский и В. Гарин.—Дружина Рабочей Молодежи	94
В. Растовский.—Под Трипольем	101
И. Собин.—Волчок	117
И. Жига.—Пулька	128